

ISSN 0207—4001

Даугава

2

1991

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В середине апреля, когда пишутся эти строки и второй(!) номер нашего журнала сдается в набор, ситуация с журнальным делом в Латвии продолжает оставаться чрезвычайной. Подавляющее большинство изданий — и русских, и латышских — или не выходит, или появляется в куцем, урезанном виде, в более чем скромном полиграфическом исполнении. Читатели, журналисты, писатели терпят ущерб. Невосполнимый урон нанесен культуре республики.

Причина проста — 2 января 1991 года компартия, «выйдя из окопов», захватила с помощью вооруженного отряда крупнейшую полиграфическую базу Латвии — Дом печати — в свое безраздельное владение. Это был первый акт всем известной январской трагедии в Прибалтике. Сегодня, когда страсти уже во многом улеглись, коммунисты по-прежнему желают говорить с «трудящимися» языком диктатора. Снизойдет ли на КПСС благоразумие, мы пока не знаем. Диктату не подчинимся. Обращаемся к своим читателям с просьбой — понять нас, проявить терпение и разделить нашу надежду на лучшее будущее.

Редакция и редколлегия «Даугавы»

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (зам. главного редактора), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕИЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН.

Редакция:

Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Григорий ГОНДЕЛЬМАН, зав. отд. критики, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Рояльд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря.

ДАУГАВА

(164)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО, Г. РИГА

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Марк Алданов. Бред.* Роман о шпионах.
Продолжение 2
- Янис Балтвилкс. После всего, что будет.*
Стихи 36

ОБЗОРЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИИ

- Зевв Бар-Селла. «Тихий Дон» против Шо-
лохова.* Окончание 40

MEMORIA

- Зинаида Гиппиус. Из «Петербургских днев-
ников». «Черная книжка»* 58
- Почта «Даугавы» 57

2

1991

БР Е Д

VII

После нового свидания с Шеллем полковник № 1 решил съездить в Париж. Поездка не была связана с делом Майкова. Оно было ему навязано и не очень его интересовало. Теперь же у него был другой, собственный, замысел, гораздо более важный. О нем нужно было поговорить с генералом, занимавшим высокий пост в Роканкуре. Генерал был его школьным товарищем и, несмотря на образовавшуюся с годами разницу в их служебном положении и в известности, они остались друзьями.

Полковник мог отлучаться из Берлина куда хотел и когда хотел, ни у кого не спрашивая разрешения. Высшее начальство чрезвычайно его ценило и предоставляло ему полную независимость. Он не был «требователен к самому себе еще больше, чем к другим» (как часто говорят в некрологах), но свои обязанности действительно исполнял очень строго. Особенно бывал щепетилен в тех делах, где служебные интересы незаметно смешивались с личными. Таково было и это дело. В нем должна была принять участие женщина, рекомендованная ему Шеллем. Но должен был также участвовать его племянник, молодой офицер, служивший в SHAPE по отделу Public Information. О племяннике надо было просить в Роканкуре, и это было не совсем приятно полковнику.

Перед его отъездом пришли очередные сообщения с той стороны Железного занавеса. У него бумаги делились на разряды: restricted, confidential, secret и top secret. Отнес эти к

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 1.

secret, но не преувеличивал их значения. Было одно ценное сообщение; все остальное показалось ему ерундой и не очень добросовестной. Полковник не рассердился, давно к этому привык. Он начальству так и докладывал: быть может, агенты говорят правду, а может быть, и прикируют, — не со злостной целью (это случалось редко), а просто для того, чтобы придать себе значения или оправдать свое жалование; ничего точно узнать не могут и выдают слухи за факты; худшие же, обычно иностранцы, просто сочиняют. Он полагался главным образом на своих близких помощников и старых агентов. К западной немецкой организации Гелена относился недоверчиво; многое в ее борьбе с восточной немецкой организацией Вольвебера было ему и неприятно, и забавно. Впрочем, он знал по долгому опыту, что только с честными людьми работать в его деле невозможно. По службе он бывал почти со всеми шпионами вежлив и даже любезен, но к некоторым не мог до конца преодолеть в себе гадливость. Сам он в работе любил точность, факты, цифры, предпочитал самые простые способы, думал, что слишком сложные комбинации в большинстве случаев не удаются.

Все же было в пору войны одно разведочное дело, чрезвычайно сложное, трудное, имевшее огромные исторические последствия. Союзники бросили в море вблизи испанских берегов труп — якобы погибшего офицера с бумагами, содержащими дезинформацию об их высадке в Европе. Как и ожидалось, труп прибило к берегу, испанские власти передали документы немцам, они дошли до самого Гитлера, он поверил дезинформации, и это стало одной из причин германской катастрофы. По изобретательности, по смелости замысла, по драматизму, по техническому совершенству исполнения и, всего больше, по результатам, это дело полковник считал неслыханным шедевром в истории разведки. Знал о нем во всех подробностях, но сам к нему отношения не имел. Таким бы делом он хотел закончить свою карьеру. Правда, в мирное время подобная затея была невозможна; но и дезинформационный замысел полковника мог, в случае удачи, иметь громадное значение. На удачу же были большие шансы. «Хромой попадетя на удочку, он все-таки дилетант в нашем деле, хотя и способный...» Ему очень хотелось одурачить Хромого. Вечная борьба давно вызывала профессиональное соревнование у обоих.

Подали завтрак: такой, какой всегда подается на аэропланах, в вагонах-ресторанах, — не очень плохой и не очень хороший. Полковник с аппетитом ел и все думал о своем проекте. «Шансы есть. Жаль, что она, по его словам, глупа. Но он говорил, что она подчиняется ему беспрекословно...»

Шелль вначале не понравился полковнику. При первом знакомстве он причислил было этого разведчика к числу людей, которые любят репутацию негодяев и ею щеголяют. Полковник встречал и таких; эта порода была ему особенно противна. Затем его мнение о Шелле стало лучше. Он видел в жизни столько зла, что с годами становился все снисходительнее к людям. «Несомненно очень ценный агент. Его мексиканское снадобье не беда.. Странно, что он играет на виолончели. Агенту не полагается иметь эфирную душу. Уж он-то наверно начитался Достоевского, — просто общественное бедствие. Все же он очень пригодится, как бы ни кончилось то дело Майкова, с научными открытиями... А вот нужно ли привлекать Джима? Он легкомысленный юноша. Однако пора вывести его в люди, еще станет шалопаем. Попробуем, а там будет видно, пока беспокоиться незачем».

Полковник был человеком почти невозмутимого спокойствия, — в этом отношении как бы из жюль-верновских англичан. Друзья шутили сравнивали его с маршалом Жоффром. Обладал он и даром *relax*, не столь уж часто встречающимся у людей. В аэроплане механически делал «наблюдения», очень ему надоевшие. Навсегда запомнил лица соседей. Память у него была разных родов и степеней: на лица безошибочная, почти непогрешимая, на все остальное средняя или даже плохая. Соседи, впрочем, были неинтересные. Господин с дамой говорили о завтраке; дама объявила, что после кофе никогда не может спать. «А вот как бы ты заснула, например, после моей прошлогодней истории с Гаузером? А я и тогда спал отлично», — подумал полковник, немного гордившийся своей мак-набсовской невозмутимостью.

Позавтракав, он с наслаждением закурил, — по стилю ему полагалось бы курить либо трубку, либо сигары, но он их не любил, курил только папиросы и недорогие. Достал купленный на аэродроме французский детективный роман, английский же и американские давно прочел чуть ли не все, продававшиеся на аэродромах и вокзалах. В сотый раз пожалел, что во Франции издают книги с неразрезанными страницами, разрешил книгу вложенным в нее картонным прямоугольником с рекламой и стал читать. Роман оказался довольно уютным. Убит был несимпатичный человек, убийство было без зверства, казни не ожидалось, официальный сыщик был не слишком глуп, а частный не слишком умен. Разумеется, оба были поразительно не похожи на настоящих сыщиков; но сходства с жизнью от детективных романов не требовалось. Разумеется, заранее было ясно, что убил не тот, на кого падали подозрения. Искать надо было среди людей, на которых подозрения не падали. Обычно полковник с первых страниц догадывался, кто убийца; догадался и на этот раз. «За что только им платят деньги?» — улыбаясь, думал он. По сравнению с тем, что видел на своем веку он сам, фантазия автора казалась ему нехитрой.

Думал он и о скорой отставке. Собирался поселиться в деревне. Мысли о доме в Коннектикуте, о конном заводе были приятны, но он опасался, что будет скучать. «Изредка буду приезжать в ведомство, справляться о новостях... Будет уже не то». Ему вспомнился выживший из ума старик, бывший сослуживец, вечно звонивший по телефону к умершим людям: помнил их номера, но не помнил, что их давно нет на свете.

В Париже полковник остановился в центре, в хорошей гостинице. Она не принадлежала к числу самых дорогих, и он всегда выбирал ее, хотя путешествовал обычно на казенный счет или именно потому, что путешествовал на казенный счет. Кроме того, он любил эту часть города. С ней связывались далекие, очень приятные воспоминания об его первом приезде в Париж. Здесь были Пале-Рояль, старая кофейня «Режанс» со столом Наполеона и с лучшим кофе во Франции, книжный магазин с разными полными собраниями сочинений в раззолоченных переплетах. Здесь был и Форе-Лепаж.

Он был в очень хорошем настроении духа. Нисколько не был утомлен полетом, чувствовал себя отлично. Перед зеркалом не в первый раз увидел, что щеки у него пониже ушей отвисают, что подбородок уже можно считать двойным, что его круглые, коричневые глаза понемногу выцветают. Увидел почти без огорчения: о смерти, о болезнях полковник никогда не думал — что ж преждевременно огорчаться. Жил так, точно

ему было известно, что он будет жить вечно. Погода была хорошая, редкая для парижской зимы. Это — даже у него, хотя он никак не был нервным человеком, — способствовало доброму настроению.

Тотчас он распределил время. Для поездки в Роканкур легко было достать казенный автомобиль, надо было лишь сообщить о себе по телефону. Но он этого не сделал, так как никого из других должностных лиц видеть не хотел. Решил поехать скромно, по железной дороге в Марли. Торопиться было некуда. Его племянник освобождался только под вечер. «Хоть мой шалопай ничего не делает, но я его беспокоить на службе не буду, потом с ним пообедаю», — решил полковник.

На Сен-Лазарский вокзал он отправился пешком. Как всегда, остановился у витрины Форэ-Лепаж, все внимательно осмотрел, прочел разные надписи: «Finement poli en long»... «Choke et demi-choke perfectionnées»... «Quaduple verrou»... «Finissage irréprochable»... Одно ружье очень его заинтересовало. Стоило оно дорого. Немного поколебавшись, он зашел в магазин. Его тотчас узнали, он был старый и хороший клиент. Полковник долго, с любовью, осматривал ружье, не выдержал, купил и велел прислать в гостиницу. Затем зашел в книжный магазин. Себе, потратившись на ружье, ничего не купил, но увидев хорошо переплетенное издание «Mémoires de Sainte Hélène», приобрел и распрямил, чтобы послать его племяннику. «Будет ему полезно. Когда человек слишком честолюбив, это нехорошо, но если он совершенно лишен честолюбия, то это просто беда. Пусть почитает о Наполеоне».

Вагон второго класса был пуст: французы ездил в предместья в третьем классе. Полковник надел очки (немного гордился и тем, что пользуется очками только при чтении) и развернул купленную на вокзале парижскую американскую газету. На первой странице ничего особенно важного не было. Он заглянул в спортивный отдел на пятой странице и с радостью узнал, что на скачках Джи Ар Пэттерсон получил первый приз. «Изумительная лошадь! Изумительная! Я всегда это говорил!»

Затем он вернулся к первой странице. Полковник разбирался в политических делах гораздо лучше, чем большинство офицеров. Германия восстанавливалась со сказочной быстротой. «Это впредь до того, как она будет и вооружаться со сказочной быстротой». Он не имел определенного мнения по вопросу о вооружении Германии. Все, что говорили его сторонники, было совершенно верно, но все, что говорили его противники, было тоже совершенно верно. «И главное, на немецкую армию, которую мы создадим в Западной Германии, они ответят точно такой же немецкой армией в Восточной Германии. Правда, западных немцев гораздо больше. Но и восточных немцев с огромным избытком достаточно, чтобы создать те же двенадцать дивизий».

Предместья были довольно убогие. Везде видны были ободранные, старые, антисимметрично стоявшие дома, иногда со стенами без окон. У Пюто тянулось огромное кладбище. Между ним и железной дорогой стояли какие-то домики. «Милая, верно, жизнь, с двумя такими пейзажами».

На крошечном вокзале Марли ему сказали, что автомобиль можно вызвать по телефону, что поездка в Роканкур будет стоить франков пятьсот и что минут пять придется подождать. Полковник погулял перед вокзалом. Ему попались на заборе порванные, истершиеся надписи: «Yanks, go home»... «Ridgway-la- peste»... Он отнесся к этому вполне равнодушно. Считал свободу слова неизбежным злом. На его памяти она

имела порою неприятные последствия: видные члены разных парламентов иногда выбалтывали такие факты, какие оглашать никак не годилось. Делалось это, очевидно, для того, чтобы «осведомить общественное мнение». Полковник не понимал, зачем общественному мнению знать, например, цифры, прямо или косвенно касавшиеся вооружений: оно о них на следующий день забывало, тогда как принимали их, как дар с неба, военные ведомства враждебных стран. Однако он знал, что в Соединенных Штатах бесполезно спорить со словами «public opinion», «public vigilance» (второе выражение казалось полковнику уж совсем забавным). Ему строго сказали бы, что *настоящие* секреты никогда не выбалтываются, — за этим тоже строго следит общественное мнение. Он думал, что обществу надо говорить только о мощи противника, о необходимости тратить на вооружение вдвое больше денег, чем тратилось. Полковник считал печальной ошибкой давнее опубликование доклада Смита об атомной энергии. И уж совершенно напрасно печатали статьи и давали интервью штатские изобретатели атомной бомбы. Кое-какие данные, хотя бы краткие, попутные, могли — он в этом не сомневался — очень пригодиться большевикам.

Пренебрежения к штатским людям у него, впрочем, почти не было. По служебному опыту он знал, что лучшие секретные агенты в пору войны выходили из людей, призванных в армию по мобилизации. Однако штатские люди, члены Конгресса, едва не погубили все его ведомство, сильно сократив в 1945 году ассигновки. Он тогда хотел стать военным агентом — была вакансия в одной из главных европейских стран; это тоже было разведочной службой. Но оказалось, что его личное состояние для этого недостаточно велико: должности военных агентов, как и должности послов, в Соединенных Штатах обычно предоставлялись богатым людям. Он не мог без раздражения думать о том, что богатейшая страна в мире не желает оплачивать как следует самую необходимую ей работу. Все же разведка была воссоздана благодаря энергии и талантам нескольких известных, авторитетных разведчиков, к которым принадлежал и он сам. Теперь напуганные штатские люди в Конгрессе давали деньги щедро, и ведомство быстро стало, по его мнению, лучшим в мире, вполне сравнявшись с советским. Отношение полковника к Конгрессу и к public opinion смягчилось: все же они составляли часть American way of life, а в American way of life он верил твердо и любил его.

Старик-шофер повез его лесом в Роканкур. Полковник был в штатском платье, но еще прежде чем он сказал одно слово, шофер распознал в нем американского офицера. По дороге показал полковнику Le trou d'Epfer, показал заповедную охоту президента республики, сообщал исторические сведения.

— Все это когда-то принадлежало семье Монморанси, самой знатной в мире, — говорил как будто с гордостью шофер, — но ее собственно больше нет, нынешние Монморанси не настоящие.

— Да откуда вы все это знаете?

— Как откуда? Из книг. Я здесь прожил всю жизнь. Как же не знать? — ответил старик и весело рассказал анекдот об одном президенте, который охотился, совершенно не умея стрелять. «Только во Франции это возможно, паразитально интеллигентный народ», — подумал полковник, любивший французов, но относившийся к ним так, как он мог бы относиться к древним афинянам. Впрочем, он и всех европейцев считал людьми прошлого.

— А это правда, будто вы очень не любите американцев? — спросил он благодушно. — Вот ведь эти надписи «Ridgway-la-peste».

— Tout ça c'est de la blague, — сказал шофер, пожимая плечами. — Надо же что-то делать партиям. Почему мне вас не любить? Это уж скорее вы меня не любите. Вот я и теперь должен буду остановиться подальше от входа: меня во двор не впустят, так как вы всех шоферов считаете коммунистами. А я такой же коммунист, как вы, — столь же благодушно сказал старик.

Полковник оставил ему, вместо пятисот франков, шестьсот.

Он направился к невысокому, длинному светлому зданию с зеленым флагом: там, если не решались судьбы мира, то, по крайней мере, подготавливалось их решение. На необыкновенно высоких, тоненьких флажках развевались флаги четырнадцати государств, подписавших четыре года тому назад Северо-Атлантический договор. В вестибюле с ним почтительно поздоровался знавший его офицер и повел его по длинным серым коридорам, высланным чем-то зеленоватым. Им попадались офицеры в мундирах разных армий. Затем он свернул в другой коридор, на котором был непонятный посторонним людям значок 4-А. Ждал он очень недолго. В большом, хорошо обставленном кабинете из-за письменного стола с телефонными аппаратами встал генерал, моложавый человек, с очень умным, волевым, неласковым лицом.

Затем было то, что всегда происходило в этом кабинете при посещении полковника: краткие, товарищеские приветствия и тотчас после них энергичный монолог генерала. Он отчаянно ругал всех, людей Пентагона, государственных людей, союзные парламенты, союзных генералов. Говорил, что настоящей армии у него нет и, при всех этих господах, не будет, проклинал день и час, когда его с боевого поста перевели в это трагикомическое учреждение. Союзные министры думают только о том, как бы продержаться у власти еще месяц. Из трех союзных солдат один коммунист — как же на них рассчитывать? Деньги по-настоящему дают только Соединенные Штаты и то очень мало. И есть лишь одна настоящая армия, американская, до смешного численно недостаточная. Затем он понемногу успокоился и очень внимательно выслушал доклад полковника, вставлял толковые замечания, задавал дельные вопросы, из которых ясно было, что он все понимал с первого слова; кое-что он кратко записывал на листках из блокнота, кое-что разрешал, кое-что отклонял. Очень одобрил план полковника.

— ...Да, это было бы превосходно. Попробуем. Могут ухватиться за новое, печкой они, кажется, еще не интересовались. А если эта милая дама хороша собой, то пусть мальчик и позабавится, ничего против этого не имею. Я завтра же распоряжусь об его переводе. Там во всяком случае он будет не более бесполезен, чем на его нынешней работе.

Позвонил телефон. Весьма значительное лицо что-то сообщило из Парижа. Лицо у генерала стало еще гораздо менее ласковым.

— ...Для этого у нас существует Public Information, — сердито сказал он. Но, по-видимому, значительное лицо просило очень убедительно: генерал, еле прикрыв рукой трубку, выругался, справился по настольному календарю и назначил час.

— Больше десяти минут я им не дам и завтракать с ними не могу, с ними позавтракает кто-нибудь другой... Не стоит благодарности. До свидания, — сказал генерал и, повесив трубку, обратился к улыбавшемуся полковнику:

— Вот на что уходит время! Какие-то важные лица из Рейкьявика желают меня видеть! Какой еще к черту Рейкьявик?

— Рейкьявик это столица Исландии, — сказал полковник, хотя знал, что его указание генералу совершенно не нужно: генералу отлично известно, где Рейкьявик и даже что происходит в Рейкьявике.

— Если б мобилизовать все население Исландии, то нельзя было бы образовать одну дивизию! — гневно сказал генерал.

И, как всегда, полковник вышел из этого кабинета несколько успокоенный. Ему иногда, в дурные минуты, приходило в голову, что по существу положение в мире безнадежно — и, как ни странно, для обеих сторон. Теперь он говорил себе, что очень важные дела находятся в руках очень умного человека, превосходно знающего свое ремесло (в военный *гений* каких бы то ни было генералов полковник давно плохо верил, особенно потому, что всех их знал лично). В этом генерале было приятно еще и то, что он нисколько не стремился принадлежать к *intelligentsia* или ей нравиться.

Как человека, с которым генерал говорил почти час, его проводили очень почтительно и обещали тотчас вызвать к нему племянника. Служебный день уже кончался. На площади как раз происходила церемония перемещения флагов: они ежедневно по определенному порядку менялись местами; не менял положения только французский флаг — всегда занимал одно и то же, самое почетное, хозяйское место. Полковник любил военные церемонии, полюбовался и этой. «Все-таки наши солдаты лучшие в мире».

Тотчас появился племянник, молодой красивый лейтенант. Он не ожидал дядю и очень ему обрадовался. Полковник любил Джима, оставшегося с детских лет на его попечении. Джим относился к дяде с ласковой снисходительностью начинающего жизнь человека к кончающему карьеру старику. Ценил его заботливость и щедрость, знал, что при дяде никак не пропадешь, и почтительно выслушивал его постоянные нотации. Все это могло с натяжкой передаваться словами, что он любит дядю. Но полковник иллюзий себе не делал. «После моей смерти немного погорюет. Даже не сразу утешится наследством в тридцать тысяч долларов, не считая дома в Коннектикуте, который он впрочем скоро продаст», — со вздохом думал он.

— Вы надолго?

— Послезавтра уезжаю. Хочу сегодня угостить тебя хорошим обедом. Надеюсь, ты свободен? У нас будет очень серьезный разговор.

— Я собственно не свободен, — ответил Джим, чуть замаявшись. — Но для вас и для хорошего обеда я, конечно, освобожусь, несмотря на ваш очень серьезный разговор. Я должен был обедать с одним приятелем, сейчас ему позвоню.

— Да, позвони ей. Где можно было бы хорошо пообедать?

— Это зависит от того, дядя, сколько вы хотите истратить на наш обед.

— Скажем, двадцать долларов? Это семь тысяч франков.

— Даже восемь. Я меняю доллары по черному курсу. Надеюсь, вы тоже.

— Не надейся, — строго сказал полковник. — И тебе запрещаю.

— Больше никогда не буду!

— Ты знаешь новость? Джи Ар Пэтерсон вчера взял первый приз.

— Не может быть! — сказал племянник взволнованно. Он тоже увле-

кался лошадьми. Это была у него одна из немногочисленных общих черт с дядей.

— Ты не читаешь газет! Быть может, ты не знаешь и того, что идут тревожные слухи о состоянии здоровья Нэтив Дансера.

— Что вы говорите!

— Надеюсь, ничего серьезного. Это было бы слишком печально!

— Такой лошади у нас не было со времен Мэн о'Уор! Кажется, он принес Вандербильту не менее семисот тысяч долларов. Где до него вашему Джи Ар Пэтерсону!

— Ну, что ж говорить о Нэтив Дансере, — сказал полковник так, как если бы при нем очень талантливого молодого поэта сравнили с Шекспиром. — Уже шесть часов. Какой тут лучший ресторан?

— Тут? Вы не предполагаете угощать меня в здешних ресторанах? Если б вы меня позвали на завтрак, мы еще могли бы поехать в «Pavillon Henri IV» в Сен-Жермэне... Там родился Людовик XIV. Вы скажете, что от этого кухня лучше не становится. Все же у Линди на Бродвее Людовик XIV не родился. Но по вечерам в Сен-Жермэне такая же тоска, как в этой дыре. Я повезу вас в Париж.

— Повезешь на чем?

— Так как вы все еще мне не подарили автомобиля, то я возьму на ваш счет такси.

— Хорошо. А что ты вообще делаешь по вечерам?

— Читаю по латыни Спинозу с карандашом в руке, исправляю последний вариант теории Эйнштейна, размышляю о ведическом периоде в истории арийцев Пенджаба...

Полковник махнул рукой.

— Покажи мне перед обедом вашу печь.

— Какую печь?

— Ту, где у вас сжигают документы. Это ведь рядом?

— Зачем вам печь?

— Не твое дело. Хочу взглянуть из любопытства.

В четырехугольной, не очень высокой кирпичной печи ничего интересного не было. Из нее вырывалось красноватое пламя, как раз что-то жгли. На дороге стоял казенный автомобиль, в нем сидели два офицера, француз и американец. Оба бегло-внимательно оглядели подходивших людей.

— В этом есть нечто символическое, — с торжественным видом, подняв палец, сказал Джим. — Тут сжигается зло мира!

— Меньше бы ты нес вздора, — сказал полковник, впрочем очень благодушно. Своему племяннику он прощал даже то, что тот, очевидно, пробирался в *intelligentsia*.

VIII

— Надеюсь, дядя, вы предоставите мне выбор блюд? — спросил Джим, когда они уселись за столик в углу ресторана. — Я закажу такой обед, какого вы отроду не ели!

— В этом я несколько сомневаюсь.

— Не отрицаю того, что вы и сами недурно разбираетесь в еде и особенно в винах. Но ваши сомнения будут лишены уж всякого основания, если вы разрешите и выйти из пределов двадцати долларов. Это не беда?

— Не беда. Заказывай все что хочешь. Я рад сделать тебе удовольствие, хотя ты этого не заслуживаешь.

— Действительно, не заслуживаю, — с полной готовностью подтвердил Джим. — Правда, я еще не знаю, за что именно вы меня будете сегодня ругать. Но ругать будете наверное, это ваше ремесло. И во всяком случае вы будете совершенно правы... Я супа почти никогда не ем. Что вы сказали бы об омаре? Только не называйте его *Homard à l'Americaine*, вы меня опозорили бы! Надо говорить *Homard à l'Armoicaine*.

— Это очень спорный вопрос. Он обсуждается давно.

— Тут и обсуждать нечего. Стали бы французы называть блюдо в нашу честь! Они к нашим гастрономическим идеям относятся с полным презрением.

— И напрасно.

— Я сам так думал, пока не побывал в Париже. Дядя, а как насчет свежей икры?

— Заказывай и свежую икру, — сказал полковник, опять махнув рукой.

— Тогда я спрошу водки. Будет русское вступление к французскому обеду двух американцев.

Метрдотель и *sommelier* почтительно записали заказ: видели, что эти клиенты, хотя и иностранцы, знают толк в еде, разбираются даже в годах вин.

— Ну, сначала скажи, как ты живешь? Вид у тебя здоровый, веселый, счастливый. Так и надо.

— Разумеется, так и надо. Мир пронизывают космические лучи счастья. Надо только уметь их находить! — сказал Джим. «И говорит как *intelligentsia*. Очень горд своей фразой, верно это из его дневника», — подумал полковник с улыбкой.

— Заведи себе трубку Гейгера... Мы должны сегодня серьезно поговорить.

— Условимся так, дядя: вы начнете меня ругать только с десерта, зачем портить мне аппетит?

— Я начну ругать тебя тотчас после водки. За твой аппетит я не боюсь. Но сегодня ты меня будешь слушать очень внимательно, я этого требую.

— Хорошо. Однако до водки расскажите мне о вашей аудиенции. Я не сомневаюсь, вы мне сообщите все, что генерал вам сказал. Вы знаете, что я нем как рыба.

— Ты не сомневаешься, что я тебе ничего не сообщу. Впрочем, одно ты можешь знать: положение в мире очень серьезно.

— Это я слышал и без генерала. Ничего интереснее вы не знаете?

— Если и знаю, то не для передачи тебе.

— Газеты пишут каждый день, что война вполне возможна. Я этому совершенно не верю. Никакой войны не будет.

— Тебе, конечно, лучше знать. В случае войны Россия выставит двести дивизий, затем очень скоро еще сто, а дальше доведет свою армию до пятисот дивизий.

— Тоже читал в газетах. Но все эти дивизии перейдут на нашу сторону. В России ненавидят дядю Джо.

— Так действительно говорят перебегающие к нам советские люди. При этом они неизменно добавляют, что необходимо только, в случае войны, располагать к себе русское население и повторять, что мы никак

не стремимся к расчленению России. Мы им, разумеется, очень благодарны за полезные советы, но мы делаем поправку на то, что эти люди перебежчики.

— Да насколько я могу судить, вся ваша работа, дядя, основана на перебежниках. Что вы делали бы без них?

— Именно «насколько ты можешь судить». А ты судить не можешь и не имеешь права. Что ты о моей работе знаешь?

— Знаю мало, но думаю, что не вам ругать перебежчиков. Кроме того, к России наши западные понятия неприменимы. Я очень люблю все русское.

— Икру?

— Икру, «Войну и мир», русских женщин.

— Ты их знаешь?

— Встречал. А кроме того, вы, очевидно, забыли, что моя бабушка, ваша мать, была русская.

— Она была внучкой русского эмигранта, но родилась в Нью-Джерси и ни слова по-русски не знала. Все остальные наши предки были коренные, стопроцентные американцы.

— А вы все-таки о русской бабушке не распространяйтесь. Это может не понравиться сенатору Маккарти. Если б он был англичанином, он верно выгнал бы Черчилля за то, что у того мать иностранка. Впрочем, я знаю, вы не любите говорить о Маккарти.

— Действительно, не люблю. А при иностранцах никогда не говорю, пусть они лучше думают о своих делах, о которых я им не напоминаю... Я решительно ничего против русского народа не имею. Однако перебежчиков-офицеров я все-таки недолюбиваю. Разумеется, все они, тоже неизменно, ссылаются на опыт Гитлера: вначале русские дивизии одна за другой сдавались в плен немцам, воевать же по-настоящему они стали только тогда, когда увидели, что такое наци. Раньше они, видишь ли, этого не знали. Тут у меня есть свое мнение. Сдавались не отдельные солдаты, а именно дивизии. Никакой возможности солдатам сговариваться о сдаче не было. Кроме того, сдающийся солдат думает о том, как с ним будут обращаться, дадут ли ему поесть, думает о чем угодно, но не о политических вопросах. В том, что говорят перебежчики, много правды, а полагаться на их заверения все-таки нельзя. Инерция военной дисциплины, да еще такой каторжной, как советская, может действовать довольно долго.

— Что если за это время советская армия докатится до Пиренеев и Атлантического океана?

— Этого никогда не будет. Но исходить всегда надо из худших возможностей.

— Напротив, исходить надо из лучших возможностей. Так думали все великие полководцы. Наполеон издевался над некоторыми своими генералами: «Они думают, что можно воевать без риска!» Но станем на минуту на вашу точку зрения. Если русские войска переходить на нашу сторону не будут, то ведь армия четырнадцати государств неизбежно потерпит поражение, так как у русских на суше тройное превосходство в силах. А если они дойдут до океана и Пиренеев, то их военный потенциал, со всеми промышленными богатствами Европы, будет больше нашего.

— Ты ошибаешься, — сказал полковник с неприятным чувством: он

сам иногда так думал. — Наша армия окажет отчаянное сопротивление. Военная прогулка в Париж больше невозможна.

— Маршал Жюэн не так давно объявил, что они будут в Париже на 21-й день!

— С тех пор многое изменилось. Кроме того, маршалы иногда очень преувеличивают, чтобы повлиять на общественное мнение, на правительства, на парламенты.

— Они, к сожалению, не понимают, как такие слова влияют на их собственных солдат. Моя позиция ясна: нам надо искать союзника в русском народе. Вашей же позиции я просто не понимаю. Подождем мальчика, который закричит, что король гол. Неужели генерал думает так же, как вы? Да еще говорит ли он все, что думает?

— Журналистам говорит не все, что думает. Генерал, вероятно, знает все то, что знаешь ты, а кроме того, знает и многое другое, чего ты не знаешь. Он умница и один из самых деятельных людей, каких я когда-либо видел. По своей живости он просто не в состоянии сидеть в своей комнате без дела. Пасьянсов он не раскладывает и почтовых марок не собирает, — сказал полковник, считавший то и другое обычно верным признаком ограниченности человека. — Таков был и Наполеон... Одно скажу тебе. Он долго говорил о нашем трудном положении, а закончил словами: «Но, разумеется, в том, что мы в конце концов победим, не может быть никакого сомнения! Нас, мир, свободу спасут две вещи: крепость духа и существование атомной бомбы». Заметь, не ее взрыв, а одно только ее существование.

— Он, правда, так думает? — спросил Джим. Его лицо еще просветлело. — Конечно, для американца в этом не может быть сомнения!

— Это ты хорошо сказал. Мы в самом деле ни одной войны в истории не проиграли. В психологическом отношении тут, быть может, некоторое наше несчастье. Мы — и во всем мире только мы одни — не представляем себе, что можно и проиграть войну. Между тем это очень просто: побеждали, побеждали и наконец потерпели поражение. Франция тоже была когда-то самой могущественной военной державой мира. Впрочем, и я уверен, что если Россия решится на войну, то она будет разбита.

— Дядя, вы противоречите сами себе, — сказал, смеясь, Джим. — И я тоже. Это бывает часто. Я не раз замечал в спорах, особенно в политических, что человек вдруг начинает спорить с самим собой, а не с собеседником. Быть может, это отчасти объясняется тем, что теперь в мире никто ни в чем твердо не уверен; оттого все и изображают такую уверенность. Правда, это глубочайшая мысль? Я один из самых глубоких мыслителей наших дней. А вы, дядя, я всегда так думал, вы удивительно не типичны для разведчика, они наверное совершенно другие. Не хочу говорить о ваших коллегах, какие они... И вдобавок вы человек бронзового века! Очень хороший человек бронзового века...

— А ты теперь кто?

— Я где-то читал, что у каких-то французских аристократов девиз рода одно слово: «фас». Теперь это мой девиз!

— Поэтому ты ничего не делаешь?

— Поэтому я ничего не делаю. Ну, допустим, я завоевал бы весь мир, как Александр Македонский. Это верно не так трудно, правда? Но собственно зачем? Ведь Александр, завоевав весь мир, умер от тоски и скуки, — сказал Джим, просматривая карту блюд. Хотя все уже было заказано, чтение карты доставляло ему большое удовольствие. — Какое

изобилие, дядя, и какие вещи! Подумать только, что десять лет тому назад во Франции почти никакой еды не было, а у нас были карточки. Вы помните вид карточек?.. Да, так вы говорите, мы победим. Конечно!

— Во всяком случае мы победим в воздухе. Решат дело атомные бомбы. Но что это значит? Это значит, что мы истребим, скажем, пятьдесят миллионов русских, а они истребят только десять миллионов американцев. Весело? Заметь еще и другое. Разумеется, в первый же день войны советское правительство предложит, чтобы обе стороны отказались от атомного оружия. Это ему будет очень выгодно, так как атомных бомб у него будет всегда гораздо меньше, чем у нас: наша промышленность гораздо мощнее, наши ученые лучше, у нас больше того, что называется know-how. Все же, повторяю, и они могут истребить несколько миллионов нашего гражданского населения, и мы это знаем. Что, если давление общественного мнения заставит нас согласиться на их предложение? Тогда как же мы победим? Способы, правда, найдутся. Все же это будет тяжело, чрезвычайно тяжело.

— Поэтому, и по тысяче других причин, надо сделать все возможное, чтобы избежать войны. Все совместимое с нашей честью и с нашими интересами.

— Я с тобой совершенно согласен. Но убеди в этом дядю Джо.

— Если же война начнется, то надо будет приложить все усилия к тому, чтобы русский народ был с нами.

— Это один из способов, о которых я только что сказал.

— Простите, дядя, это не «способ». Это цель!

— Если русский народ будет с нами, то это значит, что власть у них перейдет к маршалам. Так? К кому же еще? Всех других вождей там презирает большинство населения, это нам хорошо известно. Удержаться же у власти может только победоносный маршал. Иначе это Петэн. Маршалам придется добиться военных успехов, а, как говорят французы, аппетит приходит с едой. Маршалы не любят отказываться от территориальных приобретений.

— А в общем ничего никто предвидеть не может. Я читал старый роман Беллами «Looking Backward». Этот провидец предвидел радиоаппараты, но не предвидел таких пустяков, как две мировые войны и два десятка революций. И такovy, верно, все провидцы.. Кстати, по его роману в будущем обществе человек уходит на покой сорока четырех лет отроду. Подумайте, дядя, мне осталось всего восемнадцать лет работы, стоит ли тогда стараться? А вы уже лет двадцать, как должны быть на покое.

— Не двадцать, а только восемнадцать, — поправил с неудовольствием полковник. — Но бросим политику. Все, что о ней говорят и пишут, это общие места... Вот несут твою икру.

— Пью первую рюмку за того, кому ей обязан, — сказал Джим.

— Спасибо, мой милый.

— Разумеется, это Джи Ар Петерсон. Ведь, правда, дядя, вы на него поставили?

— Нахал! — сказал полковник. Он требовал от племянника почтительности; Джим это знал и не выходил из должных пределов, придумав форму почтительных дерзостей. — Кстати, я, гастроном старой школы, не заказал бы и икру, и омара. Либо то, либо другое, — поддразнил он племянника.

— Я пользуюсь случаем. Без вас я этого себе не позволил бы, денег

нет. Это самые вкусные вещи в мире! Если б, как в вечном и глупом предположении, меня сослали на необитаемый остров и предложили там есть все да только *одно* блюдо, то я взял бы эти *два*. А вы?

— Выпьем по второй рюмке водки и давай говорить серьезно.

— Хорошо. Ругайте меня, если нельзя иначе.

— Нельзя. Когда ты, наконец, станешь человеком? Тебе уже двадцать шесть лет, а по характеру тебе шестнадцать... В каком состоянии твои любовные дела? Ты писал, что расстался с ней, — сказал полковник. Джим ему рассказывал правду о своих интимных делах; по крайней мере, полковник так думал и этому радовался.

— Мы надоели друг другу. Она за что-то рассердилась. Вероятно, она была права. Ничего, найдем другую. Уже одна есть в виду.

Полковник покачал головой, непохоже изображая на лице сокрушение. В душе он немного гордился победами племянника.

— Женщины тебя погубят, мой друг. Плохо верю, что ты найдешь себе подходящую жену. Настоящая жена живо сбила бы с тебя спесь. Нет великого человека не только для лакея, но и для его жены. Впрочем, бывает обратное, только реже.

— От «настоящей» жены я тотчас, назло вам, сбегу... А отчего вы не женились, дядя? — спросил Джим, впрочем хорошо знавший, что ответа не получит. Он давно слышал, что дядя в молодости был влюблен в какую-то красавицу и что она предпочла ему богатого промышленника. «Это могло вызвать презрение к женщинам, или ненависть к богатым промышленникам, или решение самому стать богачом во что бы то ни стало, а у дяди ничего такого не вызвало, — всегда думал Джим с некоторым недоумением. — Правда, он позднее утешался с дамами достаточно часто. Только мне читает наставления. Когда-то он, вероятно, был *тоже* хорош собой». Возраст дяди казался ему пределом старости.

— Это тебя не касается. У тебя вечно будут романы средней продолжительностью в два месяца.

— Это еще не так плохо.

— А затем тебя женит на себе какая-нибудь кухарка... Ты слишком начитался Достоевского, — сказал полковник, приписывавший самое тлетворное действие русским романистам, особенно Достоевскому, о котором он впрочем имел довольно смутное представление: начал когда-то читать «Униженные и оскорбленные» и не мог дочитать от скуки.

— Вы мне уже это не раз говорили.

— Но сейчас ты ни в кого по-настоящему не влюблен?

— Нет. Впрочем, я не знаю, как вы понимаете «по-настоящему»?

— Во всяком случае невесты у тебя нет? Жениться ты не собираешься?

— О нет! За кого вы меня принимаете, дядя? — возмущенным тоном спросил Джим.

IX

— Ну, что ж, перейдем к делу, — сказал, помолчав немного, полковник. — Ты по-прежнему недоволен твоей службой?

— Разумеется, недоволен. Адская сука! Зачем только вы меня на нее определили?

— Мой милый, тебя и сюда определить было нелегко. Не забудь, что ты вышел из Пойнта предпоследним.

— Я действительно вышел предпоследним, но только из-за математики и поведения. Конечно, лучше было бы выйти последним. Это было бы хоть эффектно: последний в выпуске!

— Годишься ли ты вообще для военной карьеры? А если нет, то для чего ты собственно годишься? Не так давно ты хотел избрать специальностью музыку, и действительно у тебя были способности...

— Гениальные! Но вы считали бы семейным позором, если б ваш племянник стал каким-нибудь жалким композитором, вроде Вагнера.

— Ты становишься хвастуном! — сказал полковник. Он знал, что Джим не страдает манией величия, а, напротив, совершенно в себе не уверен; просто усвоил странную манеру речи.

— Нет, я не хвастун. У меня все зависит от настроения. Иногда я чувствую себя победителем и даже нахалом, вроде как барышня, представляющая свою кандидатуру на звание Мисс Америка. А раз как-то на пароходе я увидел на дверях уборной надпись: «Gentlemen» и чуть не спросил себя, имею ли я право войти.

— Это уж, конечно, преувеличение в другую сторону, — сказал полковник, засмеявшись. — В том, что ты джентльмен, не может быть сомнения, но мы говорим не об этом. Молодых людей, играющих на роле, очень много.

— Но как я играю! Я несравненный знаток! У меня даже есть музыкальный словарь Римана, в который я впрочем никогда не заглядываю, как большинство пианистов.

— Перестань шутить, я говорю очень серьезно. Если б я думал, что из тебя может выйти Вагнер, я первый тебя благословил бы на музыкальную карьеру, — сказал полковник, не вполне искренно. — Но этого не видно. Ты просто «эстет» — довольно пустая порода людей. У тебя были способности и к литературе. Когда у человека слишком много разных способностей... — Полковник не докончил фразы, увидев огорчение племянника. — Как бы то ни было, ты записался в армию добровольцем и прекрасно сделал. Назло тебе война закончилась как раз тогда, когда кончилась твоя военная подготовка. Но если б ты попал на войну, ты был бы очень разочарован. Война могла быть поэтической в былые времена. Теперь в ней ничего поэтического нет. А новая война была бы просто бойня. Романтики не будет уже потому, что впервые в истории гражданское население будет подвергаться еще большей опасности, чем армия. Тебе никак не удастся рисоваться перед нью-йоркскими барышнями: барышень будет убито больше, чем офицеров.

— Особенно, чем штабных. С тех пор, как существуют аэропланы, между штабами установилось молчаливое соглашение: Фош не бросал бомб на Гинденбурга, а Гинденбург на Фоша; немцы в Африке не старались убить Монтгомери, а англичане не пытались убить Роммеля. Это было бы не элегантно.

— Едва ли не единственный род военной службы, где еще сохранилась романтика, это мой: разведка.

— Отчего же вы меня туда не отдали?

— Не скрою, у меня были колебания. Ты не очень подходящий человек для этого дела. Так ты недоволен работой в Public Information? Что ты собственно там теперь делаешь?

— У меня очень много работы. Прежде всего мне нужно было заучить, какие именно державы входят в Северо-Атлантический союз!

— Да это всякий знает.

— Едва ли знает сто человек на земле. Попробуйте перечислить, дядя.
— Соединенные Штаты, Англия, Франция, Италия, Греция, Турция, Бельгия, Голландия, Дания, Канада... Норвегия... Исландия...

— Bravo! Но это только двенадцать, — сказал лейтенант, загибавший пальцы во время подсчета. — А еще две?

— Странно: не могу сейчас вспомнить.

— Вы забыли Португалию!

— Да, правда.

— И Люксембург! Вы забыли Люксембург с его мощной армией!

— А что ты изучил еще?

— Помилуйте, а имена! И какие имена! Знаете ли вы, как зовут представителя Голландии? Его зовут Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда ван Штарненборг Станхувер! Попробуйте повторить! И еще хорошо, если я произношу правильно.

— Вижу, что делаю тебя не переобременяют. Думаю, что и продвижение твое по службе будет медленным. Это тебя не слишком огорчает?

— Огорчает, но не слишком.

— Я знаю, ты не честолюбив. Или вернее ты сам не знаешь, честолюбив ты или нет. Думаешь ли ты когда-либо вообще о своем будущем: не о нынешнем дне и не о завтрашнем, а о будущем?

— Думаю, — ответил Джим. Хотя сказал он это с чувством обиды за то, что дядя так мало его понимает, уверенности в его тоне не было.

— А по-моему, ты никогда и вопроса себе не задаешь: «Чего я хочу? что я умею делать? что я буду делать в жизни?» Ты умен, я не сказал бы даже, что ты не *умеешь* думать: ты просто не пробовал.

— Это было бы очень грустно, если б было так. Но это не так. Я думаю очень много.

— Быть может, только тогда, когда ты говоришь. Такие люди есть. Если б я спросил тебя, *о чем* ты думаешь, ты не мог бы ответить. Мой милый, ты, к несчастью, усвоил себе странное, не то шутовское, не то ироническое, отношение к жизни: надо, мол, проводить ее по возможности веселее, а серьезного ничего на свете нет. Серьезное на свете есть.

— Вы преувеличиваете, — сказал Джим. «Может быть, дядя говорит и правду, но странно, что говорит это именно он. Человек, прослуживший всю жизнь в разведке, не должен был бы впадать в тон Эмерсона», — подумал он. — Вы очень преувеличиваете. Я думаю много, и не тогда, когда я *говорю*, а гораздо больше дома, один, за роялем, за письменным столом. Если же вы хотели, чтобы я стал «серьезнее», то, повторяю, зачем вы меня определили в самый пустой отдел в Роканкуре?

— Тебя не хотели брать в другие отделы. А я думал, что тебе будет полезно увидеть Европу, усовершенствоваться во французском языке...

— Я говорю по-французски гораздо лучше, чем Айк, или Уинни, или герцог Виндзорский. Их и понять нельзя, когда они по радио произносят несколько будто бы французских фраз. А я и аргю знаю, как парижанин.

— Смотри, как бы у тебя шутовское хвастовство не перешло в настоящее, это бывает. Ты действительно получил хорошее воспитание, я для этого ничего не жалел. Ты знаешь и то, что ты мой единственный наследник. Только, пожалуйста, не желай мне скорейшей смерти, — пошутил полковник. — Тем более, что если б тебе и теперь понадобились деньги, я охотно дал бы тебе аванс под наследство. Конечно, при условии, что эти деньги будут тебе нужны для чего-либо дельного. Тогда напиши мне.

— От души благодарю, приятно слышать. Вы и всегда меня баловали, дядя, и я этого не заслуживаю. О чем же вы хотели со мной говорить?

Полковник еще немного помолчал.

— Хотел ли бы ты работать в том же ведомстве, что я?

— Вот оно что! Вы хотите взять меня к себе?

— Не «к себе». Я просто хочу дать тебе одно поручение. Ты пока остался бы на своей должности.

— Разве это можно?

— Это делается. Ты будешь временно отчислен от своей работы и поставлен на другую. А там будет видно. Я сегодня испросил на это согласие генерала. Он тебя не знает.

— Я представлялся ему два раза!

— Ему представляется много людей, он вас всех знать не может. Он помнил только, что у меня здесь есть племянник. Собственно в том, что я заговорил с ним о тебе, было некоторое нарушение порядка. Но мы с ним старые друзья. Я ему сказал, что мне нужно, и он дал согласие или, точнее, обещал закрыть глаза.

— Разве вы хотите поручить мне что-либо незаконное?

— Многие наши действия проходят несколько мимо правил. Тем не менее генерал отнесся к делу благодушно. Спросил меня, хорош ли ты собой.

— Дядя, скажите же ради Бога, в чем дело! Сюда замешаны женщины?

— У тебя даже глаза заблестели. Не женщины, а женщина.

— Красивая?

— Очень. Не торопись радоваться: она шпионка.

— Не томите меня, дядя! Что мне Гекуба, особенно Гекуба-шпионка?

— Она посылается сюда, чтобы узнать наши военные секреты. Прежде чем продолжать, я хочу, чтобы ты мне твердо обещал: все это останется совершенной тайной.

— Клянусь моей жизнью! — сказал торжественно Джим и даже приподнял было руку.

Полковник поморщился.

— Ты сорвиголова и своей жизнью не очень дорожишь. Вместо клятв, дай мне просто честное слово американского офицера, что все сказанное мною останется совершенным секретом.

— Разумеется, даю слово.

— Для поступления в наше ведомство тебе придется пройти разные формальности, не стоит об этом пока и говорить. Сейчас вопрос только в одном пробном деле. Если ты исполнишь мое поручение хорошо, можно будет поговорить о твоем переходе к нам на службу. Это очень тяжелая служба, но она интереснее твоей нынешней.

— Дядя, откуда же вы знаете, что к нам сюда посылают красавицу?

— У нас не полагается спрашивать начальство о том, чего оно само не сообщает... Они тайно подсылают и в Соединенные Штаты своих агентов в большом числе...

— «Тайно!» Не могут же они испрашивать у вас на это разрешения. Это было бы, как если б во время войны одно правительство просило другое выдать визы для вторгающихся солдат!

— Ты сам говоришь: «во время войны». Холодная война действительно идет, и мы тоже не можем действовать исключительно законными спо-

собами... Тебе пришлось бы вступить в связь с этой дамой, — сказал наконец полковник.

Джим вытаращил глаза.

— Вот никогда не думал, что услышу такие слова от вас, дядя!.. Вы только что меня спрашивали, не собираюсь ли я жениться!

— Поэтому и спрашивал. Если б ты был влюблен, я тебе этого дела и не предложил бы.

— А если ваша шпионка мне не понравится? Что тогда?

— Глупый вопрос. Нет, в самом деле лучше останься в твоём ведомстве.

— Где же эта Гекуба? Как я с ней познакомлюсь?

— Я тебе сообщу ее приметы, сообщу, где она живет, в каком ресторане обедает. Лучше всего познакомиться с ней именно в ресторане. Остальное будет твоё дело. Ты должен будешь повезти ее в Роканкур и показать ей, как журналистке, ту печь. Ее показывают журналистам. Этой печью будешь заведовать ты, по крайней мере в течение нескольких дней. Затем ты в нее «влюбишься».

— В печь?

— Ты ей передашь некоторые документы, которые мы тебе приготовим.

— Понимаю: дезинформацию!

— На этом твоя роль кончится.

— Роль сомнительная... Никогда не ожидал от вас!

— Что ж делать, приходится идти и на такие дела. Если это делается для родины, то тут ничего плохого нет.

— Я до сих пор сходился с красивыми женщинами и не для родины. А для родины готов тем более.

— Тшорт! — сказал полковник.

X

Как только пароходик остановился, Наташа, уже с час ходившая по набережной, издали увидела Шелля и побежала по длинному валу, обгоняя носильщиков с тачками. Он поднял руку, быстро пошел к ней, обнял ее и поцеловал. От него пахло вином.

— ...У тебя прекрасный вид... Все благополучно? Здоровая? Довольна Капри?

— Это просто рай!

— Не всегда. Все на этом острове зависит от погоды. Если погода плохая, то население разоряется, и тут смертная тоска.

— Погода все время чудная! А как ты?..

— Ты не кашляла?

— Ни разу не кашлянула, — ответила она весело, хотя этот вопрос чуть ее огорчил: значит, все-таки он не уверен, что это пустяки.

— Ну, слава Богу, — сказал он и заговорил по-итальянски с носильщиком, который принес с парохода его чемоданы. Наташу удивило, что их так много: пять или шесть, все превосходные. «Неужто он и здесь будет менять костюмы каждый день, как в Берлине!» Его эlegantность была чем-то из другого, неизвестного ей, малопонятного мира и, быть может, именно поэтому ей нравилась. «А вот лицо у него измученное!» — думала она, когда он с носильщиком укладывал чемоданы в красный вагон фуникулера. Другие пассажиры с любопытством на них смотрели,

и это тоже доставляло Наташе удовольствие. Навстречу им спускался другой маленький вагон с уезжавшими людьми. Она подумала, что через десять дней, всего через десять дней, надо будет и им покинуть этот дивный остров.

В «Квисисане» Шелль не остановился: сказал, что там мог бы встретить знакомых.

— А я никого, кроме тебя, видеть не хочу! Недалеко есть очень хорошая гостиница, я в ней жил года три тому назад. Спросим там.

В этой гостинице его узнали. Был недурной номер, но хозяин предложил за те же деньги отдельный домик, расположенный довольно далеко, внизу его круто спускавшейся большой усадьбы.

— Помню, помню. Это было что-то древнее, вы тогда перестраивали. Пожалуй, — сказал Шелль, немного подумав.

— Я устроил там две ванны. Сдаю так дешево потому, что это вы, синьор. И еще, скажу правду, многие не хотят подниматься по несколько раз в день. Но синьоры молоды и крепки.

— Синьора не моя жена. Она уже имеет комнату. Что ж, ведите нас в этот домик.

Он и по-итальянски говорил свободно, даже щеголял разными «tattamia!». Втроем они спустились по древним крутым каменным лестницам в сад. Домик был тоже древний, с очень большой комнатой в три окна, с двумя спальнями, с мраморными статуями, с огромными каминами.

Когда хозяин ушел, Шелль опять обнял Наташу.

— Хочешь жить здесь со мной? Я что-нибудь для него придумаю, да их это и совершенно не интересует.

— Никогда. Ты знаешь, что...

— Да, знаю, знаю, — сказал он с нетерпением. — Хорошо, не будем спорить. Все равно мы...

— Что все равно?

— Ничего... Милая, мне надо выкупаться, побриться, переодеться. Это займет не меньше получаса... Ты подождешь меня здесь или там, в главном доме, в гостиной?

— Это не особенно удобно, — сказала Наташа, краснея. Он засмеялся.

— «Что они подумают», да? О, чудо природы! Не воспитывалась ли ты в пансионе для благородных девиц где-нибудь в Испании? Ну, так вот что. Если неприлично подождать меня здесь, тогда пойдешь на Пиацца Умберто и посиди в кофейне, на террасе. Там, кажется, несколько кофеев, я тебя найду. Ты знаешь, как пройти к Пиацца Умберто? Это здесь единственная площадь.

— Я уже знаю Капри как свои пять пальцев.

— А это не неприлично сесть одной за столик в кофейне? Слава Богу! Что же ты здесь делаешь целые дни? Все читаешь? Кстати, я тебе привез маленький подарок. Нашел у букиниста старое издание Тургенева.

— Спасибо! Ах, как я рада! Я ужасно люблю Тургенева, «Вешние воды» и «Первая любовь», это самые любимые мои книги! Не слишком дорого стоило?

— Нет, не слишком дорого.

Вырываясь хоть ненадолго из своего мрачного мира разведки, Шелль всегда чувствовал необыкновенное облегчение. Теперь действительно, кроме Наташи, никого видеть не хотел. Люди его раздражали. В поезде

соседи по отделению вызвали в нем что-то близкое к отвращению. «Кажется, попал в передовую, просвещенную компанию. Верно едут на какой-нибудь передовой, просвещенный съезд...» Он ни с кем не обменялся ни одним словом; тотчас, для предупреждения разговоров, развернул газету, но не читал ее. «Так и есть. Этот азиат бранит Соединенные Штаты за их «недуховность», возмущается тем, что они дарят слишком мало денег азиатским странам. Зато, верно, очень восхищается советским правительством, хотя оно отпускает им товары за плату и по высокой цене. Конечно, из сподвижников Неру, так, так... А эта в фиолетовом платье с кружевами, в очках, тоже страшно передовая, вид самый что ни на есть идейный и горделивый. И все они, очевидно, пристроились к разным казенным пирогам, получают большие жалованья. Женятся на богатых — разумеется, не из-за богатства, богатство только случайно пришлось, а у них, видите ли, общность идей... И только я один ничего для себя не нашел, дожил до пятого десятка, ничего не добившись, ничего не имея, купаясь в грязи... Я даже и чувствую себя с ними приблизительно так, как человек, явившийся в грязном пиджачке на вечер, где все во фраках или в смокингах... Так и есть! — почти радостно подумал он, узнав из разговоров соседей, на какой съезд они отправляются. — Все дело в копеечке, несмотря на необычайно идейный и достойный вид. Пропади они все пропадом! — думал он, утешаясь, как всегда, сознанием своего огромного физического превосходства над этими людьми. — Мог бы каждого задушить как цыпленка».

Он стал думать о Наташе. «Точно свет зажегся в душе!.. «Банальная история!» Да разве любовь всегда не банальна, и в жизни, и в искусстве? И счастье тоже банально, и слава Богу! Кроме нее, у меня ничего нет и не будет. Я как те правоверные мусульмане, которые будто бы когда-то выкалывали себе глаза, увидев гробницу Магомета: выше, чище этого ничего на свете не увижу, — подумал Шелль по своему обыкновению «литературно». — Совершенно запутался! Оказалось, я не только прохвост, но и болван. Сам не знаю, чего хочу! Ах, я безумно влюблен! — Ах нет, влюблен, но не безумно!.. Посмотрим, что будет при первой встрече. Будет ли хоть легкое разочарование?»

Он пил в вагоне-ресторане, на вокзалах, пил даже на неаполитанском пароходике. Экзамен сошел прекрасно: не испытал никакого разочарования.

Все же теперь, в ванне, неизвестно зачем, он попробовал восстановить мучивший его строй чувств. «В сорок лет человек не может быть влюбленным, как Ромео... Да, надо признаться, я всю эту поездку на Капри придумал для того, чтобы овладеть ею (и слово какое гадкое и пошлое!). Это не очень трудно, обычные приемы, ложь, хитрости, вино, удаются почти всегда. Но я не могу, просто не могу пойти на это. Значит, жениться на ней? Наташа только этого и хочет, только об этом и мечтает, и пытается, бедная, не показывать... Жениться с моим прошлым, с моей профессией, с необходимостью все от нее скрывать?»

Три месяца тому назад первая мысль о женитьбе на Наташе показала ему дикой. Потом он примерял себя к этой мысли, сначала, по долгой привычке, с насмешкой над собой, в циничной форме: «Потянуло на свеженькую девочку...» «Загадочная история, или Любовь шпиона, трагедия в пяти действиях с прологом...» С первых же дней его раздражала именно банальность истории: падший человек с опустошенной душой влюбляется в чистую девушку. «Вроде как лермонтовский Демон».

В душе он с молодых лет считал себя демонической натурой. «Что ж делать, жизнь так же пошла, как кинематограф».

Понемногу его чувства перешли на другой лад: из цинично-насмешливых стали покаянными. «Да, был опускавшийся, внутренне опускавшийся человек. Но павших людей вообще очень мало, есть падающие и поднимающиеся. Мой путь был от добра к злу, — вдруг с обратным билетом? Меня лет двадцать тяготит моральное одиночество, да и одиночество просто, мы ведь живем, как на необитаемом острове... Я иногда на аэропланах думал: хорошо бы, если б он свалился и все было кончено. Может быть, впрочем, перед собой и лицемерил: нет, и жить хорошо, покончить с собой никогда не поздно, разные мелкие радости остаются, шампанское остается... Жениться? Это теперь и практически почти невозможно. Как я женюсь, когда нет денег и получить их можно, только оставаясь в разведке?»

Когда-то случилось, что денег у него не было совершенно. Но это было давно, он отвык. «Прежде тысяча долларов казалась почти богатством. Теперь это месяц жизни, в крайнем случае два месяца, если отказывать себе во всем». В последние годы он много зарабатывал. Спрос на его труд из-за положения в мире стал очень большим. Кроме того, он обычно счастливо играл в карты. В Берлине же — «как идиот!» — проиграл около сорока тысяч марок. Шелль давно поставил себе правилом не огорчаться из-за совершенных ошибок и не думать о том, что было уже непоправимо. Однако не все правила можно было соблюдать. Воспоминание о проигранных деньгах становилось все тяжелее.

Полковник предлагал дать аванс в две тысячи долларов. Шелль в самом деле дорожил жизнью меньше, чем ею дорожит громадное большинство людей. Кроме того, поручение было интересно. И, главное, в случае успеха ему была обеспечена сумма, которая, пожалуй, позволила бы бросить давно надоевшую ему, рискованную, изнашивающую человека работу. Он об этом мечтал, хотя совершенно не знал, чем другим мог бы заняться. «Дело заняло бы около трех-четырёх недель. Положим (все еще думаю с «положим»), я мог бы придумать для Наташи предлог. Объявлю ей, что должен уехать для ликвидации дел. Оставлю ей пятьсот долларов. Как проклятой Эдде, — с отвращением подумал он. — Она будет где-нибудь в Италии работать над своим отзовизмом. Какой же адрес я указал бы ей для писем? И как я стал бы писать ей? Можно было бы, правда, оставить для отправки письма у полковника. «Милая, милая Наташа, когда ты получишь это письмо... Помни, однако, что я...» — мелькали у него готовые трогательные фразы. — Если же дело удастся, то все в порядке. Тогда можно будет от нее скрывать и дальше. Ох, не хочется ехать. И страшно... Конечно, боюсь. Вернуться оттуда мало шансов. Я все-таки не камикадзе. Как же поступить иначе? Если б было хоть немного денег, переехал бы в Южную Америку... Прямо сказать Наташе, что я разорился, что у меня больше ничего нет? Она, верно, бросилась бы мне на шею и с восторгом сказала бы, что так гораздо лучше, что она будет работать. — Он невольно усмехнулся при мысли, что будет жить на «отзовизм». — А то сказать ей всю правду?»

Об этом тоже он не раз думал в Берлине, даже подробно все себе представлял: «Обед, водка, шампанское. Слово за слово: «Ты любишь негодяя!..» Слова «негодяя» не скажу и после шампанского. «Ты любишь *падшего человека!*» — Нельзя! — отвечал он себе и тогда, невольно удивляясь комедиантскому началу в своем характере. — А как поступила

бы она? Ушла бы от меня с «расширенными от ужаса и отчаяния глазами»? Нет, это тоже был бы кинематограф, а уж в ней-то пошлости нет и следа. Я подал бы все как можно благороднее, рассказал бы ей о своем прошлом, о том, почему пошел этой дорогой, дал бы «идейные мотивы», как Эдде. И это тоже ничего не смягчило бы: «Шпион!» Разумеется, нельзя! И не думать больше об этом здесь на Капри. Не портить себе этих двух недель, вырванных у каторжной жизни...»

Несмотря на его мрачность, запас бодрости ему был природой отпущен огромный. После горячей ванны он стал еще под душ, пустил воду только из холодного крана и через минуту вышел, стараясь не морщиться и не вздрагивать. Как почти всегда, полюбовался в зеркале своим торсом. «Ничего, придумаю что-нибудь. Во всяком случае хоть день да мой! И не день, а две-три недели. Не в этом ли смысл жизни: хоть день, да мой»...

XI

Джим вышел из гостиницы Эдды на рассвете. Ночной швейцар хмуро принял сто франков и отворил перед ним дверь. «Разве отправить дяде телеграмму? Например: «Пришел. Увидел. Победил». Но телеграммы Джим не отправил. На улице он скоро протрезвился и подумал, что нет никаких оснований шутить.

Проделал же он все очень хорошо. В час дня зашел в указанный ему дядей ресторан и тотчас узнал Эдду: полковник получил от Шелля ее фотографию. «Действительно, красива!» Он был очень взволнован: отроду не видел шпионку. Все столы были заняты. Джим прошел по длинной комнате, вернулся, изображая досаду, затем остановился и по-французски попросил у молодой дамы разрешение занять место за ее столиком. Сел, преодолевая отвращение и страх, точно перед ним находилась змея. Немного помолчав, Джим спросил, можно ли взять карту блюд.

Эдда, тоже взволнованная — «вот повезло!» — по-английски ответила, что меню ей больше не нужно, она уже все заказала. Чуть улыбнулась, все же сохранила *неприступное* выражение лица. У полковника фотографии племянника не оказалось, но он очень точно описал его Шеллю. «Девяносто шансов из ста, что это он! — думала Эдда. — Ах, как удачно вышло!» Правда, Шелль сказал ей, что американский офицер каждый день завтракает в этом ресторане, — но вправду повезло: сам к ней подсел! Такая счастливая случайность могла бы показаться подозрительной; однако у нее подозрение и не шевельнулось. Действительно, Джим никак на разведчика не походил. У него лицо всегда дышало прямотой и честностью (особенно же когда он лгал красивым женщинам). «Да, по виду, кажется, дура», — радостно думал Джим. «Да, по виду, кажется, дурак, — радостно думала Эдда. — А вдруг все-таки не он? Я живо выясню. Но если и не он, то беда невелика. Будет просто приятное знакомство». Оба спешно обдумывали план действий.

— Вы прекрасно говорите по-английски, — придумал Джим.

— Меня учили языкам с детства. Мой дед был владельцем большой гостиницы. Я швейцарская журналистка, — ответила Эдда. Так ей велел сказать Шелль. «Быть может, с первых же слов сообщать не надо было?»

Джим тотчас объявил, что у него тетка владелица гостиницы в Атланте. Никакой тетки у него не было, но, по его мнению, разведчику

полагалось врать возможно чаще и возможно больше: надо только все помнить.

— Ее зовут Мильдред Рессель. Она чудная женщина.

— Атланта это, кажется, в Соединенных Штатах? Вы американец?

— Я американский офицер. Служу в SHARPE, — Джим тоже подумал, что это сообщать с первых слов не следовало бы. Впрочем, он еще накануне решил вести дело именно в темпе Юлия Цезаря. («Ну вот, значит, и никаких сомнений нет!» — подумала Эдда.) — Вы в Париже давно?

— Позавчера приехала.

— В первый раз?

— О нет, я хорошо знаю Париж.

— Я тоже. Я здесь служу уже два года (он служил только год). Позвольте представиться...

Он назвал себя. Эдда назвала свою новую фамилию, по паспорту, который получила через Шелля. Лицо у нее становилось все умнее и все хитрее, а у него все прямее и честнее.

— ...Вы похожи на один знаменитый портрет, только я не могу сейчас вспомнить, на какой именно! — сказал Джим. Он это говорил всем женщинам, за которыми ухаживал, и это имело неизменный успех.

— На какой же? Только не говорите, что на Джоконду! По-моему, она безобразна.

— О нет, на современный портрет. Ван-Донген? Лазло? — Джим называл первые приходившие ему в голову имена. — Нет, не Лазло и не Ван-Донген... Вспомнил: Тревелиан! Габриель Джошуа Тревелиан! — радостно воскликнул Джим. Этого живописца он также изобрел, по какому-то бессознательным ассоциациям: Россетти был Габриель, Рейнольдс был Джошуа. — Вы живой Габриель Джошуа Тревелиан! Верно, вы знаете его портреты, они теперь завоевывают Америку. Он мой личный друг. («Запомнить: Габриель Джошуа Тревелиан».)

— Да, как же, я много о нем слышала. Я очень интересуюсь американской культурой. Так вы служите в SHARPE? Что это такое? — спросила Эдда. Ее вопрос показался ей очень тонким. Сама Мата-Хари не могла бы вести себя умнее. — Я этого слова не знаю.

— Неужели? — спросил Джим и объяснил ей значение слова.

— Вот как? Ах, я так далека от всего этого! А кто здесь американский главнокомандующий?

«Либо она совсем идиотка, либо у нее какая-то очень хитрая комбинация. Но какая же комбинация тут может быть?.. Если все советские шпионы таковы, то Соединенным Штатам большая опасность не грозит», — подумал Джим и объяснил, что главнокомандующий действительно американец, но он не американский главнокомандующий.

— Он Сакюр.

— Это фамилия?

— Нет, это сокращение, составленное по первым буквам: Supreme Allied Commander Europe, — ответил он. К ним подошел лакей. Джим заказал дорогое вино и самые изысканные блюда из тех, что были в этом второстепенном ресторане. Считал это полезным для дела; кроме того, ему, как всегда, хотелось есть и пить. Перед Эддой стояла только маленькая бутылка минеральной воды. Он попросил разрешения налить ей вина. К концу завтрака они уже весело болтали.

Полной игривости еще не было, но она приближалась очень быстро.

— Хотите, проведем вместе вечер? Умоляю, не говорите, что вы заняты.

— Я и не говорю. Я не занята.

— Поедем в театр. В какой вы желаете? В Фоли-Бержэр?

— Ни за что! Я признаю только серьезный театр.

— С вами готов куда угодно, хотя бы на пьесу Корнелия во Французской Комедии! Я не думаю, чтобы иностранец, притом здоровый, нормальный человек, мог получать удовольствие от этих высокопарных стихов, но для вас готов и на эту жертву!

— Очень жаль, что вы не любите поэзии. Я сама поэтесса.

— Ради Бога, простите. Я обожаю современную поэзию! Прочтите мне ваши стихи!

— После того, что вы сказали, ни за что на свете.

— Я обмолвился. Я сказал глупость! Это не первая у меня и не последняя. Умоляю, прочтите.

— Нет, вы не стойте. И я не в настроении.

— Что нужно для вашего настроения?

— Любовь и вино.

— Мы проведем вместе чудный вечер.

— Как-нибудь в другой раз.

— Ни за что! Сегодня же! Я этого хочу! Приходите сюда обедать. Вы далеко живете?

— Я живу в этой гостинице.

— А я здесь завтракаю и обедаю. Разве вы не видите в этом перста судьбы?

— Ах, я всегда верила в судьбу!

— И я тоже. Мы будем встречаться каждый день. — Он хотел было добавить: «и каждую ночь», но это был бы уж чрезмерно быстрый темп. Джим теперь почти и забыл, что Эдда шпионка. Разговаривал с ней так, как всегда разговаривал с красивыми женщинами. За ликером вспомнил и изумился. «Слишком много выпил. Не беда. Сегодня же дело будет доведено до победного конца! Или, вернее, до победного начала. «Veni, vidi, vici!» — повторял он себе.

В пьесе изображалась гостиная в стиле Второй империи. Лакей ввел в нее молодого человека, они довольно долго и загадочно разговаривали. Понемногу создавалось настроение. В гостиной никак нельзя было погасить электрический свет. Звонок то действовал, то не действовал. Книг в комнате не было, но был нож для их разрезания. Была Барбедьенновская бронза; оказалось, что она очень тяжела, и молодой человек еле мог ее приподнять. Он хотел получить зубную щетку, но лакей ответил, что зубная щетка здесь не нужна. Затем лакей ушел, и последовательно появились две дамы. Одна из них была в голубом платье и поэтому не хотела сесть на зеленый диван. Согласилась сесть только на коричневый, и молодой человек ей его тотчас уступил. Оказалось также, что в гостиной в стиле Второй империи очень жарко и что нет ни одного зеркала. Это повергло всех тронх в тоску. Первая дама думала, что молодой человек — палач, но он решительно это отрицал. И понемногу выяснилось, что эта гостиная — ад.

Молодой человек был бразильский пацифист, он был расстрелян и проявил при этом трусость. Обе дамы рассказали о том, что было на совести у них, Первая дама спела парижские куплеты. Молодой человек

слушал ее в раздумье, закрыв голову руками. Так как зеркал не было, то первая дама предложила второй в качестве зеркала свои глаза. Затем вторая дама плюнула первой в лицо и целовалась с молодым человеком, а первая дама из ревности доказывала, что нельзя любить труса. Молодой человек объявил, что обе они ему противны. Он отчаянно завопил, но звонок не действовал. Он стал ломиться в выходную дверь, молил, чтобы его выпустили, соглашался подвергнуться самым страшным пыткам, лишь бы не оставаться в этой гостиной. Дверь, наконец, растворилась настежь. Наступило долгое молчание. Молодой человек передумал и решил не уходить из гостиной в стиле Второй империи. Первая дама издевалась над ним. Вторая дама сзади бросилась на нее, хотела вытолкать ее, умоляла молодого человека помочь ей, тот отказался и сказал второй даме, что остается в аду из-за первой. Первая дама была этим радостно поражена, но он назвал ее гадюкой и стал снова целовать вторую даму. Первая же кричала в муках ревности. Молодой человек оттолкнул вторую даму и объяснил, что не может сойтись с ней в присутствии первой. Тогда вторая дама схватила нож для разрезания бумаги и пыталась им убить первую даму; та захохотала и объявила, что убить ее невозможно, так как они все ведь умерли. Вторая дама в отчаянии уронила нож. Первая дама его подхватила с пола и хотела себя убить, однако это было невозможно по той же причине. Затем все опустились на зеленый и коричневый диваны и захохотали.

На этом пьеса кончилась. Она имела большой успех. Публика бурно аплодировала, особенно многочисленные, странно одетые молодые люди. Из людей же более пожилых некоторые, как показалось Джиму, аплодировали нерешительно и как будто с недоумением. Автор был очень известный и очень модный писатель, вдобавок новатор, прокладывавший новые пути в драматическом искусстве. Эдда восхищалась, при особенно ценных и глубоких замечаниях ахала и подталкивала Джима. Он тоже аплодировал. Про себя думал, что во всей пьесе не было ни одного умного или хотя бы только остроумного слова, но признавал свою некомпетентность в литературе. Впрочем, Джим слушал не слишком внимательно. Спрашивал себя, не сделал ли в *работе* какой-либо ошибки. «Не надо было оставаться в ресторане до трех часов: она может себя спросить, как же этот американский офицер сидит в ресторане в служебные часы? И не слишком ли много я пил? Она впрочем пила не меньше меня. И ничего «зменного» в ней нет, вздор! Просто...» Он благодушно захватил с собой плоскую карманную бутылочку коньяка. «Куда же ее потом отвести?»

После спектакля они сидели в кофейне на отапливавшейся закрытой террасе.

— Я закажу шампанского. Хочешь? — спросил он по-французски, чтобы говорить на ты.

— У вас, американцев, все «чампэнь», — передразнила его она, хотя у него акцент был очень легкий. — Кто же пьет шампанское так, в кофейне на террасе?

— Я хочу! — заявил он тем повелительным тоном, который принес ему немало успехов у женщин. К приятному недоумению лакея, он заказал шампанское, с видом богача-туриста, очень к нему шедшим и очень нравившимся Эдде.

— У тебя на лице экстаз! — сказал он, когда бутылка подходила к

концу. — Я, конечно, привык вызывать у женщин такие чувства, но старайся их не показывать, это непристойно.

— Ты глуп, очень глуп, потрясающе глуп... А что, если б я в тебя влюбилась?

— Я принял бы это к сведению, — ответил Джим. Собственно *техника* не менялась от того, что он имел дело со шпионкой. Джим рассказал не совсем пристойный анекдот. Эдда рассказала совсем непристойный. Затем он опять потребовал, чтобы она прочла ему свои стихи.

— Но, разумеется, не здесь!

— Так поедем в мою гостиницу.

— У тебя можно?

— This is a free country, — ответила она, смеясь уже почти полупьяным смехом. Эдда была уверена, что все американцы так говорят постоянно, по любому поводу.

Номер у нее был угловой, из двух комнат. Соседей не было и, несмотря на поздний час, можно было не стесняться. Они и не стеснялись. За коньяком Эдда читала ему французские стихи. Читала она то простирая вперед руки, то поднимая их к небу, грациозно наклоняясь и откидываясь назад. Эти жесты, особенно последний, на него действовали. Действовали и стихи.

Она в рубашке сидела у него на коленях и *вырывала у него тайны*. От нее пахло коньяком, папиросами, хорошими духами. Он подумал, не вырвать ли у нее какую-нибудь тайну, но вспомнил, что это в его задание не входит: дядя велел ни о чем ее не спрашивать, он должен быть только — не сразу, конечно, — выдать ей свой секрет.

Эдда была в восторге. Теперь она была Далила. В Священное Писание она отроду не заглядывала, это было уж совсем *vieux jeu*; оперу же видела несколько раз. Говорила, что признает только музыку конкретистов, и в Берлине угощала друзей пластинками Вареза и Антона фон Вернера, но по-настоящему она обожала именно Сен-Санса. В эту первую ночь Эдда еще не пыталась получить секретные документы. «Было бы неосторожно, да и не носит же он их при себе в кармане». Для первой ночи вполне достаточно было только узнать, «в чем великая сила его». Джим в пьяном виде и сам немного чувствовал себя Самсоном. Хотел было даже для начала выдумать что-нибудь вроде семи сырых тетив, которые не засушены, и потом «разорвать тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь». Но ничего не мог придумать. Задание было простое, и он *выдал* ей, что заведует в Роканкуре печью, где сжигаются самые важны, секретнейшие документы.

XII

— ...Отчего же вам не уехать в Америку, гражданин Майков? Вы стали бы там директором огромной лаборатории, получали бы тысяч двадцать долларов жалованья в год, да еще, быть может, с участием в прибылях. Лабораторию вам дали бы превосходную, вы были бы в ней полным хозяином, под вашим руководством работало бы человек десять молодых ученых. У вас был бы собственный дом с садом. Вас знал бы весь ученый и даже неученый мир: газеты присылали бы к вам репортеров за интервью, — шутка ли сказать, такое огромное открытие! А здесь вы живете в этой убогой комнатухе с продраным диваном, с некрашеным кухонным шкафом, с тремя грязными стульями, с шатающимся крошеч-

ным письменным столом, с которого, вероятно, вечно все падает. Есть ли у вас ванна? Нет? Человек, не имеющий ванны, не может даже претендовать на уважение. А ваши соседи? Верно, они вам отравляют жизнь. На заказ трудно было бы придумать столь бездарное существование для столь одаренного человека, как вы. У нас на западе дураки говорят, что вам чужды мешанские привычки и требования. У вас этого, должно быть, не говорят. Как и нам, вам хочется хорошей или хотя бы сносной жизни. Сюда входит, разумеется, и свобода, особенно бытовая, — без политической свободы вы, пожалуй, могли бы обойтись. Вы ученый, изобретатель, вам важна независимость, важно общение с другими людьми науки. Здесь вы работаете в казенной лаборатории, не очень плохой, но и не очень хорошей, над вами много начальства, и вы должны подчиняться, как школьник. Между вашими товарищами есть наверное хорошие люди, но, по воле советской судьбы, они прежде всего конкуренты. Каждый ваш успех — это неуспех для них. Они поневоле ревниво следят за вами, некоторые вас подсиживают, кое-кто на вас доносит. Ваше открытие рассматривается в комиссии. Ее руководители коммунисты и, по общему правилу, ничего не понимают в науке. Большинство других не очень желает, чтобы выдвинулся новый человек. А что такое «выдвинулся»? Если ваше открытие будет признано ценным, вы получите повышение в ученом чине, у вас будет квартира из двух комнат, столь же дрянная, как эта, вам могут дать и какой-нибудь орден. Ваши товарищи будут шипеть и издеваться. При первой же, хотя бы ничтожной, неудаче вас съедят враги и завистники. Я знаю, вы были в свое время арестованы. За что, мне неизвестно. Верно, кто-нибудь звел на вас обвинение, в лучшем случае якобы научное: ошибка, просчет, недостижение обещанного результата. Возможно, что это был просто вздор. Но допустим, он сказал правду: вы в самом деле сделали ошибку. Это бывает, это даже неизбежно в работе. В Америке частные предприниматели в своих расчетах делают поправку на возможные ошибки. Если она была очень велика, на западе ученый может потерять место. Вас же посадили в тюрьму. В худшем же случае вас обвинили в том, что вы когда-то были кадетом или меньшевиком или народным социалистом. Разве при таких условиях можно плодотворно работать? Или я говорю неправду?

— Я не понимаю, к чему вы это все говорите.

— Надеюсь, вы не думаете, будто вы работаете на Россию? Так могут думать только дураки или люди, цепляющиеся за соломинку, чтобы не превращать свою жизнь уж в совершенную бессмыслицу. Вы работаете на Сталина и на мировую революцию, то есть на невежественного, тупого, хотя и хитрого, злодея и на то, чтобы превратить еще миллиард людей в глупое, быстро развращающееся стадо. Что вам здесь делать? Вашим открытием могли бы заинтересоваться лишь в том случае, если б вам покровительствовал какой-нибудь сановник. А как вы к нему пролезете? Вы пролезать не умеете. Да это и довольно опасно. От Кремля до Лубянки два шага и в прямом, и в переносном смысле этих слов. Тут логически построенный роман. Композиция прекрасная, как у всех средних романистов. Глава первая: он никто. Глава пятая: он лакей при большой особе. Глава десятая: он сам большая особа. Глава пятнадцатая: он в застенке. Но допустим, допустим, все будет гладко. Пустят ли вас без заложников за границу обменяться мыслями с западными учеными? Едва ли. Для этого надо совершенно продаться большевикам. Можете ли вы читать иностранные книги лучших писателей наших дней?

Не можете: вашими литературными вкусами ведает начальство, читай то, что тебе разрешают. В Америке вы тотчас составили бы себе большую прекрасную библиотеку. Какая это радость покупать и читать книги! Помните предсмертное обращение к ним Пушкина: «Прощайте, друзья?.. А теперь у вас эта жалкая полка. И печатъ вы читаете только советскую, она, помимо всего прочего, самая скучная и бездарная в мире. Разве не так?

— Это так, но все-таки уберите поскорее. Я терпеть не могу шпионов.

— Что такое шпион? Эдит Кавелл занималась шпионажем, ее одна из воевавших сорок лет тому назад сторон расстреляла, а другая поставила ей памятник. В пору войны тысячи французов из Resistance погибли, как шпионы, и их теперь признает героями вся Франция. «La trahison est une question de dates» — говорил Талейран. Они делали свое дело не ради денег. Им все же платили, и это совершенно естественно, «людям надо есть и пить», — говорит полковник. Их мотивы? А почему вы знаете мои? Продался я или нет, это вопрос личный, частный и малоинтересный. Вообще не судите строго, а то понадобится слишком большая скамья подсудимых. У вас есть другая возможность: стать мучеником. Нехорошо. Это при царях можно было стать мучеником, с разными величественными словами. Есть ведь такие слова — бриллианты, чаще всего фальшивые: «Я умираю за свободу», и так далее. А теперь нельзя. Никто и не узнает о вашем мученичестве или узнает года через два. Да и всем решительно все равно: одним мучеником больше. Лучше утешайтесь угрызеньями совести: для кокетливых людей они клад. Или вы не кокетливы? Наташа об этом мне не сказала, я вообще плохо вас понимаю. Ведь и Олелеуки было для того, чтобы вас понять. Ради Бога, говорите больше, говорите не односложно, говорите ярко... Ну, вот, вы здесь из самых лучших, но ведь и вы подписывали разные верноподданнические телеграммы Тиберию: «Расстреляли таких-то, спасибо вам сердечное, гениальный Иосиф Виссарионович!» Ведь подписывали? И я на вашем месте подписывал бы, но «бы» — это сослагательное наклонение, а в изъяснительном я ничего не подписывал. Поедем в Америку, чтобы больше не подписывать, а? Да, здесь и каяться неудобно: из десяти собеседников уж один наверно сексот. Пошловато? Может быть, но чистая правда. Человека вылечить можно разве только сорокаведерными бочками правды, да и то не наверное. Русской интеллигенции больше нет. «Почиют вечным сном — высокородные бароны». Была, была русская интеллигенция! И литература была, да какая: благородная, талантливая, порою гениальная. Мы думали, что русская литература не продается, ни купить, ни запугать ее нельзя. А теперь откроешь наудачу книгу — автор продан, ну, не целиком, а на пятьдесят процентов, на двадцать, на десять продан. Правда, прежде правительство у вас было гордое и непонятливое. При Николае I было запрещено не только ругать правительство, но и хвалить его: не нуждаемся. Нынешние правители догадались: «Как же не хвалить? Пусть лоб расширяют!» Они уже тридцать пять лет развращают людей с большим, замечательным, изумительным успехом. Русский народ был одним из наиболее умных, наиболее тонких, наиболее «духовных» в мире. Но действия самой колоссальной развращающей силы в истории он не выдержал, да и не мог выдержать. С немцами при Гитлере случилось то же самое: почти все к нему шмыгнули, писатели, философы, ученые. Можно еще сказать, что дело не в человеке и даже

не в народе, началась новая историческая эпоха, и т. д. Непременно скажите это: хорошее утешение, социологическое... Я все же надеюсь, что у вас от прошлого осталось хоть немного чувства иронии, а? Наташа говорила, что прежде вы ругали всех и вся. А теперь у вас какая-то «панацея». Тусклый вы что-то выходите, Николай Аркадьевич. А может быть, вам хотелось бы, чтобы и на западе все продавались, чтобы везде были только пресмыкающиеся люди. Но это не так. От меня никто приветственных телеграмм не требует, а если б кто потребовал, я послал бы его к черту. Да на западе и чисток никаких нет. Послушайте, а ваша скука, чудовищная, невероятная, невыносимая скука советской России! Записывали ли вы ваш день? Плохая работа, плохой обед, эта ужасная комната. То же и завтра, и день за днем, и год за годом. Говорят, у вашей молодежи «горят глаза», она, видите ли, и без свободы, при этой чудовищной скуке, «радостно строит новую жизнь». Может, и строят, да такова эта новая жизнь, что уж лучше было бы не строить. Они ведь *бодрые атеисты*, — редкая и глупая порода людей. Что могут они понимать со своим птичьим комсомольским разумом! И вовсе не горят у них глаза. Глаза горят только у служащих Интуриста. Они-то и есть «фанатики», им отлично платят. У гитлеровских фанатиков тоже, верно, горели глаза. Нет, поедем на запад, поедем, дорогой гражданин Майков. Я, разумеется, не говорю, что все зло находится по одну сторону Железного занавеса, есть достаточно зла и по другую сторону. И государственных людей на западе почти нет. Черчилль единственный, но он человек из Вальтер-Скотта, ему бы, вместо Айвенго, драться на турнире в Ашби-ле-ла-Зуш. Больше, кажется, никого нет. Многие вам назовут Неру, я очень не люблю этого лицемера, который считает себя спасителем мира. Одна у него впрочем была светлая мысль: он первый понял, что под видом крайней новой демократии можно убедить людей проглотить любой старый завалявшийся хлам, кашмирский и другой. Но все-таки в свободном мире государственные *люди*, а у вас государственные *звери*.

— Вы даром теряете время. Я за границу не уеду. И вам не стоило приезжать сюда для того, чтобы говорить мне об удобствах жизни в Америке и о преимуществах политической свободы перед рабством.

— Я начал с практических доводов. Понимаю, понимаю, они для вас не имеют значения. Конечно, я говорил общие места, но ведь у вас и общие места забыли. Постойте, быть может, вы опасаетесь, что вас плохо встретят русские эмигранты? Я их мало знаю и мало ими интересуюсь. Ничего плохого о них сказать не могу, кроме разве самого худшего: того, что они «*quantité négligeable*», они Чан-Кай-Шеки без Формозы. Верно, между ними есть и очень хорошие, и очень плохие люди. Видите, я не боюсь общих мест. И странно было бы, если б в России остались только плохие, а за границей оказались только хорошие, или наоборот. Ведь и самый отъезд определялся миллионом случайностей, а с ним и взгляды человека. Везде и всегда в мире был принцип: *cujus regio, ejus religio*. Помню, Вольтер говорил мне...

— Кто вам говорил?

— Вольтер. При Людовике XV я встречался во Франции с самыми знаменитыми людьми. Сколько раз я разговаривал с самим королем. Фридрих тоже меня любил, он говорил, что граф Сен-Жермен самый замечательный человек его времени и, конечно, лучший из врачей.

— Так, так... Значит, вы просто не в своем уме?..

— ...Вы не в своем уме, — сказал извозчик. — Где же это видано, чтобы на извозчике ехать из Берлина в Москву! Летите туда на аэроплане и спуститесь на парашюте. Так всегда поступает со своими агентами полковник № 1. Если вас не поймают, то вы таким же способом вывезете на запад вашего Майкова.

— Нет ничего легче, чем дать глупый совет, и я у вас советов не просил. Я и в Помпею ездил на извозчике, и Наташу катаю по Капри. Я вам дам тысячу лир на чай. Но я очень спешу.

— Вздор, некуда спешить в жизни.

— Да у меня завтра в университете экзамен по истории религий. А я не знаю учения Нила Сорского. Не успел прочесть.

— Это обычный кошмар во сне. Никакого экзамена у вас нет. Мне тоже часто снится, будто я для экзаменов консерватории не успел разучить тарантеллу.

— Как же вы, простой извозчик, можете учиться в консерватории! Вы все врете. На чай будет две тысячи лир.

— За две тысячи лир я могу вас отвезти в дом умалишенных. Вы все равно туда попадете, у вас верно дурная наследственность.

— Как вы смеете говорить дерзости! Я вас задушу, как араба в Сантандере.

— Только умалишенный может верить в панацею... А ваш полковник несерьезный человек...

— ...Странно, что у меня оба полковника смешиваются, ведь они совершенно разные люди, как и мы с вами. Впрочем, все люди друг друга стоят... Да, не вышел из меня писатель. Мое несчастье: я ведь и честолюбец, и болтун, и сноб. Очень печально... Угостите меня водочкой.

— У меня нет водки.

— Позор! Что же у вас в этом высокоме до потолка шкапу? Он заперт английским ключом.

— У меня там виолончель.

— Вы играете на виолончели? Вдруг вы играете тарантеллу! Услышать ее здесь это было бы вроде того, как услышать в доме Гитлефа сионистский гимн.

— Какая тарантелла? Что за вздор!

— Да ведь я для Наташи устроил здесь на Капри тарантеллу. Рядом с нашей гостиницей артисты ее играют всю ночь. И моя жизнь вообще фильм, положенный на музыку тарантеллы. Простите, что выражаюсь пошловато. Я и вообще пошловатый человек: «демонический». И никаких открытий я не сделал, я просто граф Сен-Жермен... А в чем заключается ваше открытие?

— Вы отлично это знаете, ведь за этим прнехали. В способе продления человеческой жизни. Я нашел панацею.

— Человечество давно ищет панацею. Либиг говорил, что нет идеи более тонкой, более возвышенной, сильнее действующей на творческую работу людей. А его современник и тоже знаменитый химик Распей уверял, что панацею нашел. Кажется, это была камфора? Разумеется, у вас ваше открытие записано как следует: с формулами, с цифрами, а? Где же вы храните записку? Тоже в этом кухонном шкапу с английским замком?

— Вы, верно, очень любите кинематограф? Это прямо для фильма: папка с секретнейшими документами, шпион ее похищает. И при этом

подумывает: если он не отдаст, то я его убью... Вы, верно, убивали людей? Может, этим и хвастаете? Хотя бы перед собой?

— Нет, не хвастаю. А убивать случалось, как теперь столь многим. Я ведь воевал. Когда люди на ваших глазах живьем горят, зажженные вашим огнеметом, а вас за это награждают, то моральные понятия очень упрощаются. Да, я убивал людей, это очень просто. Раз как-то я даже своими руками задушил человека в Испании. У меня это записано в той розовой тетрадке, да я и без нее помню все чуть не наизусть. Жаль, что плохо написано, хотел, чтобы вышла «новелла», да не удалось, очень плохой я писатель. Хотите расскажу?

— Не хочу.

— Да вы не сердитесь, что у меня бред. Мой бред особый, от Ололеукви. Вы можете об этом снадобье прочесть в специальных медицинских книгах, и не в мексиканских, а в немецких. Я из-за них и приобрел его в Мексике. Не люблю немцев из-за Наташи, но в их науку верю. Заинтересовался: неужели правда, что дает такой бред? Оказалось, почти все правда. Моя розовая тетрадка осталась в Берлине, на левой полке в кабинете, там, где у меня легкомысленные гравюры... Все еще, к сожалению, имею слабость к «легкомысленному», поэтому и люблю восемнадцатый век. Вот ведь в ту же тетрадку записал и свой еще худший рассказ об Оленьем Парке. Даже не рассказ, а «эскиз». Видите, какие я слова знаю: «эскиз», «новелла». Там я хотел вывести и дуру Эдду, она у меня *sous-madame*. Тоже вышла дрянь, от бездарности, да и от лени.

— Тяжел ваш бред умалишенного. Но задушить меня вам не удалось бы. Я закричу, сбегутся соседи.

— Помилуйте, я нисколько не собираюсь. Разве только так могла проскользнуть мыслишка.

— У вас руки душителя.

— Полковник № 1 тоже все посматривал на мои руки. А я всего только одного человека и задушил: того араба в Сантандере...

...Сантандер был только что взят армией генерала Франко. По предместьям проходили испанские и итальянские войска, проезжали в новеньких автомобилях германские офицеры с презрительно-брезгливым выраженьем на лицах, шли грузовики с удовольствием, тащились тележки с возвращавшимися беженцами, тяжело навьюченные ослы, мулы, даже коровы. На тротуарах, в воротах домов, поврежденных бомбардировками, у окон с выбитыми стеклами толпились люди. Многие плакали от радости. Появление испанских знамен вызывало восторг. Люди протягивали вперед руку с фашистским приветом, но кое-кто еще грубо ошибался: поднимал сжатый кулак по обряду народного фронта и тотчас отдергивал, заметив свою ошибку. Итальянцам, немцам и особенно арабам аплодировали мало.

Человек гигантского роста в синем костюме с утра сидел на террасе кофейни. Столики и стулья были, однако ни еды, ни даже напитков никому не давали. Человек был оставлен покинутыми город республиканскими властями. Состоял у них на службе летчиком. Не раз на парашюте спускался позади фронта; выдавал себя то за американского журналиста, то за дельца, то за иностранного артиста, застрявшего в Испании.

Теперь у него было задание: выяснить численное соотношение между разными составными частями армии врага, — он и сам мысленно по

привычке говорил о «враге», хотя его не очень интересовало, кто победит. Понимал, что ничего точно узнать не может; но не хотел получать даром те большие деньги, которые ему платили республиканцы. В Сантандере победители входили по двум дорогам, и он еще накануне наметил себе по наблюдательному пункту на каждой.

В течение трех часов он с террасы наблюдал, считал и старался запомнить четыре числа, увеличивавшиеся с каждой минутой. Записывать на виду у всех было, разумеется, невозможно. Он и так обращал на себя внимание огромным ростом и тем, что был гладко выбрит, что был одет много лучше других. Считал, сколько проходило «Requetes» в красных беретах, фалангистов в синих мундирах, легионеров в зеленых рубашках, мавров в тюрбанах. На лице у него все три часа висело выражение радости по случаю победы. Фашистский привет он отдавал четко и правильно, но реже, чем другие: он устал, почти не спал две ночи. Ему очень хотелось есть и особенно пить. В лжавшем у него в ногах небольшом мешке, который в нормальное время никак не подходил бы к его виду и костюму, были сухари, коробка консервов и бутылка вина, но ему было совестно есть перед голодными людьми. Позади человека в синем костюме висела афиша с огромной надписью: «Помни, что везде шпионы! Не говори лишнего слова! Немедленно сообщай властям о каждом подозрительном лице!» Афиша осталась от республиканцев, но никаких эмблем на ней не было, и проходившие по предместью за несколько часов до того люди из «Gurdia Civil», немного посоветовавшись, оставили ее на стене.

Завтракал этот человек где-то на пустыре. Съел с жадностью то немногое, что у него было, но бутылку опорожнил лишь наполовину и положил назад в мешок. Там у него были плюшевая блуза простолоудина, что-то еще из одежды, красный галстук новейшего мадридского образца. Если б его задержали и обыскали, то этого было бы достаточно для расстрела. Но ему терять все равно было нечего, так как в заднем кармане брюк у него был и револьвер; расстаться же с револьвером он не хотел и не мог.

Позавтракав, человек в синем костюме направился к южной дороге, где еще накануне шли ожесточенные, кровавые бои. Вторым наблюдательным пунктом был небольшой, очень старый крестьянский дом, от которого остались только стены с сорванными дверьми, часть очага, часть засыпанного мусором пола, кровать с грязным тюфяком и подушкой. Он вошел в домик сзади, и, осмотревшись, незаметно устроился у окна без стекол. Теперь вынул записную книжку. Вспомнил прежние четыре числа, но не был уверен, какое из двух первых относилось к Requetes и какое к фалангистам. «Кажется, к фалангистам... Почти наверное... А вдруг нет?» Подумал, что память у него могла ослабеть от долгого недоедания, от полного отсутствия мясной пищи или оттого, что в последние месяцы он уж слишком много пил (в вине не было большого недостатка ни в том, ни в другом лагере).

Впрочем, большого значения это не имело. Цифры все равно были случайные, отношение между ними могло очень измениться после его ухода из кофейни, да собственно эти сведения были и не очень нужны. «Просто у тех и у других очень деятельная, дилетантская разведка, и ей надо показать свои заслуги». Он читал в иностранных газетах, что карлистов в лагере генерала Франко вчетверо меньше, чем фашистов. Отношение между двумя первыми числами с этим не совпадало. Записал числа

и стал отмечать черточками (приблизительно десять солдат — одна черточка) данные на южной дороге, на которой происходило то же самое, что в предместье. Это он делал, пока не стемнело. Отношение вышло еще новое. «Возьму среднее. В докладах все всегда выходит очень хорошо».

По-видимому, хозяева бросили домик лишь в последнюю минуту, перед самым началом боев за подступы к Сантандеру. Он знал, что везде население, особенно крестьянское, мучительно не хочет бросать насиженные места, но так же мучительно боится мавров, — о них, как о коммунистах в другом лагере, ходила страшная молва; испанцы тоже, случалось, расстреливали друг друга, но между собой можно было кое-как сговориться; грабежи были очень редки. На полу валялись осколки дешевой, грубой посуды, разбитое блюдо с остатками бобов. Человек в синем костюме допил вино, достал из мешка порошок, посыпал тюфяк, подушку и с наслаждением растянулся на кровати. Револьвера из брюк не вынул, теперь войскам не до того, никто не поинтересуется разрушенным крестьянским домом.

Стало совсем темно. Шум на дороге затихал, все воинские части уже прошли. Прислушиваясь, он устало думал о своих делах. Думал, что в Сантандере остаться нельзя: несколько человек в городе знали, что он иностранный журналист, пользовавшийся расположением республиканцев, — не оберешься неприятностей, обыск весьма вероятен. Думал, что хозяин гостиницы не донесет, — «кажется, порядочный человек, «гидалго», они все впрочем «гидалго», — и нет у него оснований быть им недовольным, да и хлопотно, и незачем, и небезопасно; владельцам гостиниц неблагоприятно ссориться с американцами. «Но оставаться все-таки не нужно и незачем. Зайду, возьму вещи, прошусь, В Бильбао останусь американским журналистом, объявлю кому следует, что буду писать о карлистах и фалангистах. Еще как будут ухаживать!» Почему-то ему карлисты с их древними взглядами были много приятнее, чем фашисты. Думал, что хотя Испания одна из прекраснейших в мире стран, а испанцы один из благороднейших народов, хорошо было бы скорее уехать в страну без гражданской войны, лучше всего во Францию: уж очень все здесь надоело. На этих мыслях он задремал чутким, беспокойным сном человека, всегда, особенно ночью, находящегося в смертельной опасности.

Он сам не знал, *отчего* проснулся. Едва ли от усиления шума на дороге, — слышался конский топот, в город входила запоздавшая кавалерийская часть, — к *этому* шуму за день привык. *Потом* он вздрогнул, непонятным образом почувствовал человеческое присутствие. Мгновенно и неслышно он поднялся на ноги. «Если выстрелить, на дороге услышат, ворвутся, тогда конец...» С той стороны, с которой вошел в домик он сам, теперь слышался и шорох. «Кажется, один... Грабитель? Любитель-убийца?..» Он чуть наклонился вперед. Вдруг на другом конце комнаты сверкнул огонек. Появился араб с фонарем в одной руке, с кинжалом в другой. Человек в синем костюме, как кошка, сорвался с места, бросился вперед и схватил араба за горло...

— ...За горло? Едва ли. Остались бы следы, а к его телу были допущены тысячи людей. Уж скорее отравили. Или «лечили» по методам Генриха Ягоды. Но и этого с уверенностью сказать нельзя. Верно, останется «неразрешенной загадкой истории».

— Может быть. Вроде как убийство Тимберия. На Капри говорят не

«Тиберий», а «Тимберий». Они все очень любят своего Тиберия, Наташа не хотела верить. Я ведь говорил вам, что я женюсь на Наташе. Она, кажется, ваша любимица? Может быть, и вы в нее были влюблены? Только она, бедная, не знает, кто я такой. Что будет, если узнает, а? Что мне тогда делать: кончать самоубийством, а? Еще в молодости об этом подумывал и, верно, так и сделал бы, если б немного не надеялся найти тихую пристань. Так вы думаете, что Иосифу Виссарионовичу помогли умереть? Это было бы приятно, очень приятно. Ведь более страшного человека в истории никогда не существовало. Как мне жаль, что я никогда его не видел. Вы тоже нет?

— Я видел. Был у него с докладом о моем изобретении.

— Не может быть! Были у Сталина?

— Был. Для меня выхлопотал аудиенцию мой школьный товарищ, бывший в то время сановником. Но на беду, когда Иосиф Виссарионович меня принял, он уже подумывал о том, чтобы расстрелять этого сановника. Через некоторое время меня и посадили на Лубянку. Еле ноги унес.

— Да расскажите подробнее об этом посещении, уж если о панацее рассказывать не хотите. Какой он, товарищ Сталин? Что то есть за человек?

— У него тоже панацея. У меня две, а у него третья. Его панацея — провокация. Всю жизнь что-то и кого-то провоцировал и почти всегда с успехом.

— Где он вас принимал?

— В своем кабинете, где же еще?

— Да, да, я читал описания, я столько о нем читал! На столе пять телефонов, самых важных в России. На темно-зеленых стенах портреты Маркса и Ленина. Это тоже символ его панацеи: он в книги Маркса отроду не заглядывал, а Ленина терпеть не мог. Дальше?

— Да что же дальше? Вы сами за меня рассказываете...

— Это потому, что я в вас все перевоплощаюсь. Или стараюсь, да плохо. Вы по дороге верно прошли через несколько комнат, там были люди. У всех на лицах было написано *обожание*. Одни верно «обожают его по-солдатски». Про себя думают, что, чем беззастенчивее лезть, тем лучше. Может, они правы. И он тоже прав, *ceia fait partie du métier*. Иногда делает вид, будто это море лести ему противно. Тиберий тоже притворялся, будто не любит низкопоклонства. После какого-то заседания — сената, что ли? — сказал: «О, человеческая низость!» или что-то такое в этом роде. Но люди, хорошо его знавшие, после этого льстили ему еще больше. Ваш-то, конечно, делает вид, что считает потоки лести полезными для *дела*, ввиду глупости и стадности людей. Это тоже не он выдумал. И может быть, так и надо: только у таких, как он, и есть настоящий престиж. В демократических государствах престиж создается изредка после смерти человека, а в рабских он после смерти исчезает. Но ведь это «после смерти» ему, как им всем, не так интересно. Вы думаете, что время все поставит на место? Какое же именно время? Одно поставит, а следующее переменит. Быть может, близкое потомство будет исходить всецело из ненависти к нему и его делам: что угодно, да лишь бы на них не походило! А потом будут и рецидивы сталинизма. Да и что в потомстве? Далеко до потомства! Теперь у него всё в иностранной политике, а ведь прежде она его и не очень интересовала. Внутренние враги как будто уничтожены. Велик соблазн, — он в два-три месяца может овладеть европейским континентом. Правда, он и так владыка полумира, но полудивильзованные страны, от Китая до Албании,

ему мало интересны. Велик соблазн, но велик и риск. Однако с его шансами Наполеон давно начал бы вой, — разумеется, Наполеон-коммунист. Он и тут «средний». Знамение эпохи; взбурлил ее средний человек, страшный и все-таки средний. Загадка в том, что никакой загадки нет. Ничего в нем нет драматического, он не похож ни на Мефистофеля, ни на Ричарда III, в нем даже почти непостижимое отсутствие романтики. Это, конечно, минус для исторической личности. Но биографы что-либо придумают, будут во все времена глупые и изобретательные биографы. Ну, исторические заслуги найдут, найдут даже заслугу психологическую: построил огромное здание только на зле и ненависти, открыл колоссальный резервуар, из которого они будут литься столетиями. Да, все спасенье в том, что велик и риск. Это в мое время можно было начинать войны без риска. Мои приятели, Людовик XV, Фридрих II, знали, что ни им, ни их престолу поражение ничем не грозит. А теперь зеленая зала в Нюрнберге с виселицей и трапом... Так он ваше открытие отверг? Противоречит диалектическому материализму, а? Так, так. Но ведь он все-таки умер, а? Я сам читал об этом в неаполитанской газете, еще и Наташе прочел. Она была поражена, но «не особенно»... Наташа всегда говорит «не особенно». И не думайте, что мне снилось... Это полковнику № 1 приснилось, будто пророк Иеремия проиграл в покер два миллиона марок. А я проиграл меньше сорока тысяч... Вы Сеньориты не принимаете? В Мексике народ называет Ололеуки Сеньоритой. Уж не знаю, почему. Быть может потому, что бред так часто связан с женщинами. У меня тоже бывали такие виденья. А верно, все эти сановники, особенно те, что выпивают, входя к нему в столовую, думают: «А вдруг случится такой ужас и я за вином брякну то, что действительно о нем думаю!» Ведь тех, что поважнее, он иногда приглашает к себе запросто на обеды. Атавизм старого кавказского гостеприимства? Любит угощать людей и выпивать с ними? Ведь человек же он все-таки, а? Или и тут его панacea? «Проговорюсь за вином, тогда они проговорятся». Он ведь и с Бухаринным не раз коротал вечерок, и с Рыковым выпивал. И верно, злобы к ним не чувствовал. Не чувствовал, быть может, и тогда, когда отправлял их в застенки: просто так будет лучше. Ну, а мелкая сошка — дело другое. Эти и в самом деле гордились тем, что каждый день видят вблизи самого могущественного, самого знаменитого человека на земле! Из-за него перейдут в историю, попадут в романы, в театральные пьесы 21-го столетия. Да и восхищались отчасти тоже искренно: как-никак, продержался у власти столько лет, всех своих врагов погубил, никто с ним справиться не мог. У более умных было наверное и сомнение: все-таки что же это такое? как это могло случиться? ведь мы-то знаем, что ничего особенного в нем нет, хотя он умен и хитер; он и говорить порусски как следует не научился, ничего не читал, ничего сколько-нибудь интересного отроду не написал и не сказал. Но над всем преобладал у них, разумеется, ужас. Как и Гитлер, он вполне обладал этим драгоценным для государственного деятеля качеством: умел вызывать страх в людях. И больше всех дрожали высокопоставленные сановники, то есть те, к которым он выказывал благосклонность: они ведь лучше всех знали, что он органически неспособен сказать правду. Главные сановники иногда с ним еще спорят, но очень точно знают, когда надо перестать спорить. Некоторые из них, быть может, считают его душевнобольным и не так уж ошибаются... Да, да, я все говорю за вас, простите. Что же было?

Продолжение следует

ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО БУДЕТ

Латышский поэт
Янис БАЛТ-
ВИЛКС родился в
1944 г. в Курземе.

Изучал биологию в Латвийском университете. Работал орнитологом. С 1974 г. — на литературной работе. Издал около 15 книг, большинство из них — для детей. Среди сборников стихов: «В середине — лето» (1976), «Когда я обжит» (1981), «Ты спасен» (1984), «У снега нет выбора» (1989).

Переводил произведения для детей с русского, литовского, немецкого языков.

Произведения Я. Балтвилкса переводились на русский (сборник стихов для детей «Где ночует дрема», 1988), эстонский («Беседы о птицах», 1986), литовский, английский, датский, болгарский и другие языки.

Перевел Александр ЗОРИН

КАК ВОЗНИК СЕВЕР

Он возник
от воды,
камней,
тумана,
холодного ветра.
Он возник от рыб
и крика чаек.

А позже
от крика чаек возникли чайки,
от рыб — корабли, от кораблей — люди.

* * *

Можжевелик. Дикий камень.
Близкое море.
Облака в море,
полные рыбой.

Лодка отчаливает в облака
рыбачить.
Скоро просыпется на болота
красная клюква.

В северной моей стране
душа оживает.
Находит прибежище
после всего, что было.
Найдет и после всего,
что будет.

СЕРДЦЕ

С тех пор как ты смотришь на мир не глазами,
а сердцем;
С тех пор как ты вслушиваешься в мир
своим сердцем;
С тех пор как ты ощупываешь его не ладонями,
а прикасаешься сердцем;

С тех пор как твое сердце
обрело
зрение и слух,
оно все чаще
болит.
Да, болит, ставшее
отзывчивым и зрячим.
С тех пор
когда оно уже не перестает
болеть —
ты спасен.

ДОЛГО Я ШЕЛ...

Долго я шел,
созидая свой мир.
Время помяло меня
и пометило шрамами.
Долго я шел..
И то, что можно было забыть,
позабыл.
Так долго я шел,
что вернулся снова домой.
Так долго,
что теперь
мне хочется сажать деревья —
дюжне дубы, —
пусть они
идут дальше.

ДУРНАЯ ГОЛОВА...

Чем пустее голова,
тем больше ей мерещится свершений.
Рассуждает туманно:
еще неизвестно..
Бабушка надвое сказала..
Не боги горшки обжигают..
Что ей стоит вскарабкаться на небо
по бобовому стручку!
Она чертей не боится.
Она уверена, что охраняют ее
добрые духи.

Чем пустее голова,
тем больше ей чудится свершений.
И вот ведь загадка —
чудеса свершаются.

ОДИН ИЗ ДНЕЙ

Это мой день.
Я сегодня иду
босыми ногами
по горячим углям,
по кучам битого стекла,
по гвоздям, пробитым сквозь доски.
Я сегодня иду —
и завтра меня не спрашивайте:
как ты смог?

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ МЕТОД

Только усердно ласкать.
Только заботливо гладить.
Не раздражая ничем —
по шерстке,
только по шерстке.
И постепенно изнежатся мышцы,
расслабится шея,
и сонные глазки нальются оловом.
Только по шерстке,
только по шерстке...
Видишь, головка
уже набок склонилась...

С МЕЧОМ

Дом — отдавай!
Хлеб — отдавай!
Меч не дрогнет.

Мужиков ← давай!
Женщин ← давай!
Меч не дрогнет.

Песню — давай!
Песню? Шиш!
Слабоват твой меч.

Слишком короток,
чтоб песню достать.
Короток слишком,
непререкаемо-тверд.

* * *

Бороться с крапивой
придется ежедневно.
Ибо ежедневно
она будет наползать на тебя полчищами.
Насколько ты отступишься,
Настолько она уплотнится.
Своей слабостью
ты будешь питать ее корни.
Крапива — свежа и сочна,
и живуча.
Многому тебе предстоит
поучиться у крапивы.
Об отдыхе не мечтай,
о достигнутой победе.
Это противоборство
не имеет предела.
Каждый день
придется воевать с крапивой.
Каждый день
она будет наползать на тебя полчищами.

В СОСЕДСТВЕ С ВОРОНОМ

Говорят, что ворон
живет долго-долго.
Что он — мудрейшая из тварей,
из тех,
что предупреждают о несчастье.

Не берусь угадать,
что у ворона на уме,
но его соседство —
успокаивает,
словно осенняя хмарь, словно падающий лист.
Словно лемех в сырой земле.
Кажется,
можно спокойно жить с ним рядом.
Будто он всегда знает,
что нужно делать.

* * *

Мне нравится гулять по облакам,
по зыбистым, по заливным лугам.
Следить высокогорные обвалы,
как рушатся, меняя склоны, скалы,

И если вниз оттуда посмотреть —
земля прекрасна, с ней не страшно слиться.
Раскинув руки, хочется лететь
И на ветру, как легкий лист кружиться.

Куда девается пустая тень
обиды, настроения дурного?..
И хочется благодарить любого
за этот светлый, долгий-долгий день.

Зеев БАР-СЕЛЛА

«ТИХИЙ ДОН» ПРОТИВ ШОЛОХОВА

ЗАПИСКИ ВРАЧА

В августе 1914 года сотник Евгений Листницкий подал рапорт о переводе в действующую армию и получил назначение в один из казачьих полков. Сойдя с поезда на каком-то безымянном полустанке, Листницкий присоединился к походному лазарету, который и доставил его к месту расположения штаба полка. Врач лазарета — «большой багровый доктор» — «очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и [...] изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником [...]».

— Чем объяснить эту несурязицу? — из вежливости поинтересовался сотник.

— Чем? [...] Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с. [...] Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там... — и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестящими, сокрушенно мотая копанстой головой» (кн. 1, ч. 3, гл. 14).

Сознаемся сразу — ошибка здесь обнаружена не нами, а С. Н. Семановым:

«Известное произведение Вересаева «Записки врача» опубликовано было в 1901 году и никакого отношения к военным вопросам не имело. Его позднейшие книги — «Рас-

сказы о войне» (1906) и «На войне» (1906—1907) как раз были посвящены критической оценке русско-японской войны, где автор бывал в качестве военного врача. Неточность в названии популярного тогда произведения очевидна*.

Ладно, неточность... А что было точным? Вот Семанов называет два вересаевских произведения. Какое из них по праву могло бы занять место «Записок врача»? Или оба сразу?

По всей видимости, нам придется отвергнуть кандидатуру «Рассказов о войне». Вышедшие в более или менее полном виде через 8 лет после русско-японской войны — в 1913 году (4-й том полного собрания сочинений В. Вересаева), они, как можно судить по прессе, при появлении своем общественного ажиотажа не вызвали.

Другое дело — очерки «На войне». Публиковавшиеся в сборниках товарищества «Знание» (№ 17—20, 1907—1908), они уже в феврале 1908 года вышли отдельным изданием и возбудили живейший интерес. В. Линд («Русская мысль», 1908, № 10) высоко оценил «правдивые воспоминания» Вересаева, рецензент «Русских ведомостей» (1908, 22 июля) особо отметил наполняющий очерки «внутренний ужас, который, увы, не исчез с войной». Безусловное восхищение книгой вызвал критик журнала

Окончание. Начало см. «Даугава», № 12, 1990 г. и № 1, 1991 г.

* Семанов С. Н. В мире «Тихого Дона». М., «Современник», 1989, с. 147.

«Современный мир» Н. И. Иорданский, писавший, что Вересаев «сумел сделать из истории скитаний полевого госпиталя [...] историю великого национального страдания» (1908, № 8).

Сравним с такой характеристикой очерков яростные жалобы доктора из «Тихого Дона»:

«Ведь вы подумайте, сотник: потряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два ддя шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь (доктор с злым сладострастием повторил «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая). [...] Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с».

Сказанного доктором вполне достаточно, чтобы на место «Записок врача» с уверенностью поставить книгу «На войне».

И вот тут наступает самое интересное. Дело в том, что книга Вересаева не носила название «На войне», точнее — не только «На войне». Полное наименование книги было таким: **В. Вересаев «На войне. Записки»**.

Из чего следует, что два интеллигентных собеседника, встретившихся в августе 1914-го на безымянном полустанке, не ошибались, называя «Записками» известную, неоднократно переиздававшуюся разоблачительную книгу о состоянии русской военной медицины. Они друг друга прекрасно понимали:

«Помните Вересаева «Записки»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с. [...] Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем. Так что уж там...»

Расширением названия мы обязаны, скорее всего, придирчивому редактору. Для него Вересаев и «Записки врача» были синонимами*,

* Сам Вересаев на это жаловался: «Не люблю я этой книги. Она написана вяло, невзрачно, плаксиво и в конце концов просто плохо. [...] Но как раз «Записки врача» дали мне такую славу, [...] которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные. Знал я несколько таких. [...] В вагоне скажет случайному спутнику свою фамилию, а тот: — Чем изволите заниматься?»

а любые «Записки» рядом с именем Вересаева — только «Записками врача».

Шолохов, понятно, поправку принял — ему-то было все едино.

О СТЕПЕНЯХ РОДСТВА

В главе 2-й части 3-й (книга 1) воинская служба приводит казаков в Польшу:

«Искромсанная лезвиями чахлах лесков, лежала чужая, польская земля. [...] Имение Радзивиллово находилось в четырех верстах от полустанка. [...]

— Это что за хутор? — спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.

— Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область Войска Донского.

— А что это, дяденька?

— Какой я тебе дяденька? Ать, нашелся племяш! Это, братец ты мой, — имение княгини Урусовой».

Таков облик текста в послевоенных изданиях. В публикациях более ранних, кроме написания «Радзивилово» с одним «л», а в речи персонажей «што» вместо «что», текст обнаруживает одно отличие — в предпоследней фразе на месте восклицания «Ать» стоит «Ашь».

Слово «ашь» ни в донских, ни в южновеликорусских говорах не отмечено, но нет в них и слова «ать» («ать» в известном сочетании «Ать-два!» представляет собой результат изменения слова «Раз» в аллегорической речи). Впрочем, в говорах Южной России можно найти нечто близкое — междометие «ат», выражающее «возражение, отрицание, пренебрежение, укоризну, недовольство, досаду и т. п.; ну их! ну тебя! и т. п.: Ат! Много мы таких видели! (курск.); Ат! Куды там ему ехать! (воронеж.)»*. Чем же была вызвана замена несуществующего «ашь» не более реальным «ать»?

[...] Вот этого со мною не бывало. Назовешь свою фамилию мало-мальски грамотному человеку, радостно-изумленное лицо: — Автор «Записок врача»?!» «Воспоминания» — в кн.: Вересаев В. В. Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 5. М., 1961, с. 437.

* «Словарь русских народных говоров», вып. 1. М.—Л., «Наука», 1965, с. 288.

Ответ обнаруживается в самом романе — в главе 14-й части 2-й (книга 1):

«Черт паршивый! Ать сукин сын! — багровея, орал Сашка ломким голосом. [...] Умру — и то приползу по цибарке кринишю дать, а он, а ть, придумал!.. Тоже!..»

Итак, отсутствующее в диалектных словарях «ать» в романе все-таки имеется. Откуда оно в роман проникло — вопрос другой, на который мы еще попытаемся ответить. Но, пока что, разберемся с «ашь».

Произносит это слово «бравый лупоглазый вахмистр Каргин». Вахмистра мы наблюдаем в разных ситуациях. Вот, например, в 5-й главе части 3-й ему встречается ограбленный казакom еврей:

«Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику.

— Беги, жидюга, заколю!..

Еврей испуганно зевнул ртом и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. [...] еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.

— За что?.. — рыдающим голосом крикнул он.

Вахмистр, мася в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршуначьи глаза, ответил, отъезжая.

— Не ходи босой, дурак!»

Понять этот диалог позволяет знание прибауток. Собиратель городского фольклора Евгений Иванов сохранил для нас такой разговор старомосковских книжников: «Загнал Ровинского-то? Кому? Французу? Десяти листов не было? Так и надо! Не ходи босиком, а то по пяткам»*.

Иными словами, вахмистр приказал еврею не быть растяпой. Следуя методике школьных сочинений, мы, на основании данного отрывка, можем охарактеризовать вахмистра Каргина как носителя образной народной речи. Точно так же ведет он себя и в разговоре с молодым казакom, называя того «стригуном митякинским». Казачок — родом из станицы Митякинской, «стригун» — донское название жеребенка, а в

шутливой речи — молодеж.л. Лошадь, как эталон и исходный пункт при сравнении, — понятная особенность у такого кавалерийского племени, каковым были донские казаки.

Но никакого знания коннозаводства не требуется, чтобы сделать выбор между «ать» и «ашь», поскольку выбор этот диктуется самим текстом:

«Какой я тебе дяденька? Ашь нашелся племяш!»

На неправильное (не по уставу) обращение рядового казака к старшему по званию вахмистр отвечает прибауткой, в которой слово «ишь» преобразовано в «ашь» для создания рифмы:

«Ашь» — «племяш»!

Шолохову данная прибаутка была незнакома, в силу чего он и решил, что ошибся: спутал в Авторской рукописи буквы «ш» и «т». Такая ошибка чтения вполне вероятна, если в почерке Автора эти буквы были сходны или неразличимы по начертанию.

Обратимся ко второму случаю употребления «ать» в романе, который теперь — после анализа колебаний «ашь»/«ать» — оказывается единственным.

Как уже говорилось, южнорусским диалектам известно лишь междометие «ат!», которого мы в «Тихом Доне» как раз не обнаруживаем. С другой стороны, мы находим в романе любопытную замену форм, оканчивающихся на мягкий знак, формами без окончания: в главе 5-й части 2-й (книга 1) фраза «— Дай ему, Яшь!» была еще в 30-е годы исправлена, и с тех пор читается: «— Дай ему, Яш!».

Исправление, несомненно, обоснованное, поскольку в русском языке так называемая «звательная форма» имен собственных представляет собой чистую основу. Мягкость основы передается на письме мягким знаком, твердость — отсутствием окончания:

Волод-я — Володь!

Кол-я — Коль! Саш-а — Саш!

Сон-я — Сонь! Шур-а — Шур!

Ван-я — Вань! Гриш-а — Гриш!

Яш-а — Яш!

* Иванов Е. П. Меткое московское слово. М., «Моск. рабочий», 1985, с. 94.

Спутать мягкую и твердую форму на письме, то есть прочесть мягкий знак там, где никакого знака нет, нелегко. Но так было не всегда.

До орфографической реформы 1917 года (циркуляр Министерства народного просвещения от 17 мая) мягкая и твердая основы различались на письме соответственно мягким и твердым знаками. А твердый знак перепутать с мягким было легче легкого. Автор написал «Я ш ъ!», а Шолохов прочел «Я ш ь!».

Так что, видимо, и «ать» никакого в романе нет, а есть кое-как прочитанное « а т ъ »:

«Черть паршивый! Ать сукинъ сынъ!
...а онъ, ать, придумал!.. Тоже!..»

ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Возражая против принадлежности «Тихого Дона» перу Шолохова, приводят часто такой аргумент — комсомолец (а в дальнейшем — коммунист) не мог написать роман, антисоветский и белогвардейский по духу!

В таком заявлении логического противоречия нет, но есть одна трудность: в контакт с духами (хотя бы и романа) вступить чрезвычайно сложно.

Например, фраза: «Вверх ногами летели советы» в описании казачьего восстания как будто ярко характеризует авторское отношение к событиям. Еще больше отношения в таком высказывании: «Смыкалась и захлестывала горло области белшевиетская петля...» Ну, а что если автор романа передал здесь не свои собственные ощущения и привязанности, а взгляд и позицию персонажей? Встал на их точку зрения?

Или, скажем, такой эпизод: казак Чикамасов в августе 1917 года рассуждает, что Ленин — никакой не русский, уроженец Симбирской губернии, а напротив — коренной донской казак, еще точнее «родом из Сальской округа, станицы Великокняжеской... служил батареицем». Антисоветскому читателю и критику сразу бросятся в глаза ходульность и искусственность та-

кого эпизода, что, в свою очередь, ясно указывает на вмешательство Шолохова.

Однако вопрос о том, кто здесь руку приложил, не решается так просто. Вот рассказ о встрече Ленина с группой казаков в ноябре 1917 года в Петрограде: «Правда ли, что вы по происхождению донской казак?» — спросил один из казаков. Ленин ответил отрицательно и спокойно добавил: «Я — симбирский дворянин».

Такому рассказу, конечно, веры нет. Мало ли какие байки-воспоминания о «самом человеком» можно прочесть в Стране Советов... Но тут — такая заковыка: казаки, пришедшие к Ильичу, были не какими-то там ходоками, а делегатами насквозь антибольшевистского «Союза Казачьих Войск»; рассказ же об этой встрече мы взяли из ростовского белоказачьего еженедельника «Донская волна» (1918, № 11, с. 7). Следовательно, легенда эта не выдумана Шолоховым — подлинный Автор вполне мог ее знать и включить в роман. В таком случае легенда, конечно, служит уже не доказательству всенародной любви к Ильичу, а демонстрирует меру казачьего непонимания происходящего.

Так что опираться на прямые высказывания для суждений об Авторе не всегда стоит. Что же делать? Искать, искать следы авторского отношения на уровнях, недоступных никакой цензуре, — уровнях поэтики и замысла.

КАЗНЬ

Что мешает четкому определению идеологических пристрастий Автора романа «Тихий Дон»? Два обстоятельства. Одно — внешнее: текст романа, и без того основательно испорченный, сильнее всего искажался в идеологически чувствительных местах. Доказательством этому служит проводившаяся от издания к изданию безжалостная правка политических аспектов романа. Но если печатный текст, распространявшийся в сотнях тысяч экземпляров и, следовательно, доступный для сравнения, мог подвер-

гаться такой вивисекции, легко представить масштабы двойной (шоховской и редакционной) цензуры, предшествовавшей выходу романа в свет!

Второе обстоятельство — внутреннее: Автор описывает людей, а не персонажей политического театра масок. Примером этому являются описания смертей, где Автор равно человечен и безутешен вне зависимости от того, кто из героев расстается с жизнью — есаул Калмыков или его убийца Бунчук, полковник Чернецов и его убийца Подтелков...

Такого уровня объективности («встать над красными и белыми») мечтали достичь многие писатели (Михаил Булгаков, например), но и Автору «Тихого Дона» он дался нелегко.

Остановимся на одной из смертей — двойной смерти красных казаков Федора Подтелкова и Михаила Кривошлыкова (кн. 2, ч. 5, гл. 30):

[...] один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело его, вихнувшись, рванулось вниз, а ноги достигли земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла Подтелкова тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки, упирався в сырую притолочную землю большими пальцами босых ног [...] Изю рта его обильно пошла слюна.

[...] Кривошлыкову не дали закончить речь: табурет вылетел из-под ног [...] Сухой мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягивался судорогой... Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, [...] и опять кончики пальцев достали земли».

Детали данного описания мы отыскиваем в литературе 10-х годов:

«Когда Петр перекинул веревку через толстую ветвь раскидистого клена, [...] и быстро повернувшись к нему правым плечом, рванул ее вниз, собака, вздернутая на дыбы, судорожно скорчив передние лапы, сделала усилие удержаться на взрытой под кленом земле, но повисла, едва касаясь ее. Черно-лиловый язык ее высунулся, обнажился в гримасе коралловые десны, дневной свет, отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.

— Теперь молчи, не вякай, — сказал Петр, любивший шутить сумрачно».

Прочитрованный отрывок взят из рассказа Ивана Бунина «Последний день», опубликованного впервые в петербургской газете «Речь» (1913, № 47, 17 февраля), а затем включенного в авторский сборник «Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912—1913 гг.» (М., Кн-во писателей, 1913; по «Книжной летописи» проходит 9—16 декабря). Сборнику был предпослан эпиграф: «Не прошла еще древняя Русь...» (И. Аксаков).

В. Краинхфельд в рецензии на сборник немедленно отметил, что Бунин «цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве...» («Современный мир», 1913, № 11). Иная точка зрения была высказана А. Дерманом («Русское богатство», 1914, № 2), обратившим специальное внимание на рассказ «Последний день»:

«Да, все это правда: и коралловые десны, и черно-лиловый язык, и глаза виноградного цвета, но за этими частными правдами чувствуется какая-то большая общая неправда, которой невольно и закономерно сопротивляешься: «неправда» Бунина — тот общий фон, на котором он пишет свои частно-правдивые (не всегда, впрочем) детали, а фон этот какое-то рассудочное и холодное отношение к изображаемому миру».

Слова «деталь» и «фон» достаточно ясно указывают на то, что критик противопоставляет Бунину как образец правильного подхода к делу — да впрочем, Дерман этого и не скрывает — Чехова, который раньше Бунина открыл «зверства и жестокости» русской деревни, однако у Чехова была «правда в фоне», которой у Бунина нет.

Любопытно, что Автор «Тихого Дона» словно полемизирует с «Русским богатством» — у Бунина берется именно детали. Однако у Автора романа мог быть и другой мотив обратиться к рассказу «Последний день» — сразу за описанием казни борзых у Бунина следует рассказ о повешении людей:

«— Собак что, и людей, какие позаметательнее, и то многих казнят, — сказал Петр. [...] Мне солдаты расска-

зывали. Сделают с ночи висельницу, а на рассвете приведут этого самого злодея, палач мешок ему на голову наденет и подымет на резиновом канате. Доктор подойдет, глянет и сейчас говорит, удавился или нет... Тут же под висельницей и могила. [...]

— А за что же их казнят?

— Понятно, не за хорошее. За всякие разноеврия, за начальство, за разбой. Не буянь, не воруй...»

Можно предположить, что импульсом обращения к рассказу Буннина был импульс символический: «Собаке — собачья смерть!», иными словами, Подтелков и Кривошлыков, с точки зрения Автора, — красивые собаки. Авторское отношение определяет и точку зрения персонажа — см. слова Григория Мелехова, обращенные к Подтелкову:

«[...] Теперича тебе отгрыбается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить!»

Мелехов, в данном эпизоде, относится к Подтелкову, как к живоде-ру, попавшему в руки живоде-ров.

Но круг актуальных литератур-ных реминисценций не исчерпыва-ется Бунниным:

«Веревка едва выдерживала шестипу-довую тяжесть: потряскавшая у пере-кладыни, она тихо качалась, и, пови-нуясь ее ритмическому ходу, раскачи-вался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, за-литую горячими потоками слюны и слез».

Ср.:

«[...] Всю ночь, как какой-то чудовищ-ный плод, качался Иуда над Иеруса-лимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне — точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду из Карнота, предателя — одинокого в жестокой участи своей».

Цитата эта взята, понятное де-ло, из повести Л. Андреева «Иуда Искарriot и Другие» (сб. «Знание», XVI. СПб., 1907). Как и в преды-дущем случае, Авторскую оценку Подтелкова как Иуды подтвержда-ют персонажи:

(гл. 28) — Что мы сделаем с теми предателями родного края, кото-рые шли грабить наши курени и унич-тожать казачество? [...]

— Расстрелять! Всех! [...] Нету им, христопродавцам, милости! Жи-нды какие из них есть — убить!.. Убить!.. Распятъ их!..»

(гл. 30) Григорий Мелехов Подтел-кову: «Отходился ты, председатель мос-ковского совнаркома! Ты, поганка, ка-заков жидам продал!»

Осип Давыдович Штокман, сле-сарь, член РСДРП(б), появивший-ся впервые во 2-й части романа (книга 1) и погибший от рук солд-ат мятежного Сердобского полка в части 6-й (книга 3), привлек вни-мание Д*, давшего в «Стремени «Тихого Дона» глубокую и верную характеристику этого образа.

Ключевая для образа сцена — поездка Штокмана на повозке Фе-дота Бодовскова (в дальнейшем приговоренного Штокманом к рас-стрелу) из станицы Вешенской в хутор Татарский:

«[...] на гребне, в коричневом бурья-ном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий наметанно-зоркий глаз Фе-дота различил чуть приметно двигавши-ся головки дудаков (дроф. — Б. С.).

— Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вон они ходют... — вздох-нул, указывая пальцем.

— Не вижу, — сознался пассажир, подслепло моргая» (кн. I, ч. 2, гл. 4).

Можно согласиться с Д*, писав-шим, что «так же подслепло, как на дудаков, глядит Штокман и на Федота, а затем [...] с такой же близорукостью [...] на весь каза-чий быт-обиход» (с. 44). Замечание Д*, «что в глазах автора лица, по-добные Штокману, не являются со-зидателями нового, но лишь тупы-ми фанатиками затверженных идей», можно подкрепить цитатой из главы 16-й (ч. 2): «Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии», точнее более ранним и менее шолоховским ва-риантом этого фрагмента: «[...] в твердых, словно заученных фразах [...]».

Такая трактовка образа находит, по мнению Д*, подтверждение в самом имени персонажа: «Жесто-кость смысловой сути в самой фа-миллии: Stock (палка, немецк.)» (с. 46). Немецкая этимология ка-жется здесь тем более оправданной, ввиду того, что в первых изданиях романа Штокман происходил не из латышей, а из немцев: «Дед из немцев происходил».

Тем не менее, выбор такого име-ни автором романа, если не допус-

кать только, что это был Шолохов с его звринным невежеством, с несомненностью указывает на единственный источник — пьесу Генрика Ибсена «Доктор Штокман (Враг народа)».

Объяснение тому факту, что большевик Штокман унаследовал имя норвежского врача, мы находим в специфической судьбе пьесы Ибсена в России. Дело в том, что «в то тревожное политическое время — до первой революции — было сильно в обществе чувство протеста». Публика «жадно искала героя, бесстрашно говорящего правду, воспринятую властями и цензурой». Первым таким героем и стал доктор Штокман в исполнении К. С. Станиславского, которому принадлежит и процитированное выше высказывание.

Успех сопутствовал «Доктору Штокману» в Москве, но на гастролях в Петербурге в 1901 году Московский Художественный театр показал спектакль в обстановке уже вовсе необычной. В начале года у Казанского собора состоялась студенческая демонстрация, разогнанная специально вызванными казаками. На таком фоне и проходил спектакль. «Ввиду печальных событий дня, — вспоминал Станиславский, — театральный зал был до крайности возбужден и ловил малейший намек на свободу, откликался на всякое слово протеста Штокмана. То и дело, притом в самых неожиданных местах, среди действия раздавались взрывы тенденциозных рукоплесканий. Это был политический спектакль», — заключает Станиславский, хотя «мы, исполнители пьесы и ролей, стоя на сцене, не думали о политике».

Станиславский особо отмечает, что ничего революционного в пьесе не было, напротив: «герой презирает сплоченное большинство и восхваляет индивидуальность отдельных людей, которым он хотел бы передать управление жизнью. Но Штокман протестует, Штокман смело говорит правду, — и этого было достаточно, чтобы сделать из него политического героя».

Вывод Станиславского: «Нужна была революционная пьеса, — и

«Штокмана» превратили в такую»*.

Таким образом, выбор фамилии Штокман для наименования героя романа свидетельствует, по-видимому, о том, что Автор «Тихого Дона» рассматривает свой персонаж как фигуру отрицательную, антидемократическую, иными словами — как врага народа.

Тогда недавний символ революции превращается в способ дискредитации революционеров. Одного этого достаточно, чтобы прислать первую книгу «Тихого Дона» к «литературе реакции», то есть увидеть в романе черты пореволюционной (после революции 1905—1907 гг.) переоценки ценностей.

Существует, кстати, произведение, в котором пьеса «Доктор Штокман» прямо связана с ездой в запряженной лошастью повозке — фельетон Леонида Андреева «Диссонанс». Фельетон этот был опубликован в 1900 году, подписан тогдашним псевдонимом Л. Андреева (Джемс Линч), и являлся откликом на премьеру «Доктора Штокмана» в Московском Художественно-общедоступном театре 24 октября 1900 года.

Герой фельетона радостен и возбужден, так как едет на премьеру в Художественный театр, и ему «предстоит высшее наслаждение». Первое ощущение «диссонанса» возникает у героя, когда оказывается, что извозчик «ничего не знал о театре, о котором говорит вся Москва». Чувство диссонанса еще более усиливается оттого, что извозчик, работавший всю ночь, чуть не попадает под конку. Впрочем, «дальше, со входом в театр, началась сплошная гармония». Интеллигентная толпа с восторгом встречает слова Штокмана: «Право только меньшинство, потому что только меньшинство умно и благородно. Вы лжете, что грубая масса, чернь имеет такое же право осуждать и санкционировать, советовать и управлять, как немногие представители интеллигентного

* Станиславский К. С. Собр. соч., т. 1. М., 1954, с. 249.

меньшинства» (4-й акт). Интеллигентного героя, «отвавшего дань возвышенным чувствам и облагородившего свою душу созданием чужих добродетелей», из театра снова везет домой извозчик. Герой пытается выяснить его отношение к искусству, к истине, справедливости, но в ответ слышит лишь недвусмысленное извозчиково: «Как?». Герой не успокаивается: «Ты знаешь, что сейчас в Каретном ряду такие вот, как ты, погубили самого лучшего человека, какого я видел когда-либо?». «Никак нет, это не мы, — протестует извозчик, — намедни я вот тоже одного господина с Зацепы вез. Говорил ничего, вот как и вы, а потом как меня по шее — вда-арит. А мы что, мы никого не трогаем».

Мораль фельетона: «И мы каждый исполняли свое назначение. Он меня вез, а я о нем думал. О нем и о таких, как он, зверях и дворянах, об их тупости и звериных чувствах, о той пропасти, которая отделяет их от нас, возвышенно-одиноких в нашем гордом стремлении к истине и свободе. И на один миг — странное то было чувство — во мне вспыхнула ненависть к доктору Штокману и захотелось из своего свободного серого одиночества уйти и раствориться в этой серой тупой массе полулюдей. Возможное дело, что через некоторое время я влез бы на козлы, но, по счастью, мы приехали». Допрос во время езды учиняет Федоту Бодовскому и Штокман из «Тихого Дона»:

«Как у вас жите? — спросил Штокман, подпрыгивая и вихляясь на сиденье.

— Живем, хлеб жуем.

— А казаки, что же, вообще, довольны жизнью?

— Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.

— Так, так... — соглашался слесарь, и, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы.

— Сытно живут, говоришь?

— Живут справно.

— Служба, наверно, обременяет? А?

— Служба-то?.. Привычные мы, только и поживешь, как на действительной».

Как извозчик не понимает Джемса Линча, так и Федот не понимает и хитрит со Штокманом, и, дей-

ствительно, есть основания говорить об идейной и фабульной близости двух повествований, близости, прослеживаемой даже в деталях:

(«Диссонанс»): «Штокман только еще вошел, [...] а вы [...] уже знали, что за дивно-светлая, наивно честная и глубоко любящая душа сидит в длинном теле этого ученого, с его добродушной конфузливой близорукостью...»

(«Тихий Дон»): «— Не вижу, — сознался пассажир, подслепоморга».

И все-таки возникает вопрос: почему Автор «Тихого Дона» обратился к газетному фельетону 1900 года? Неужели впечатление сохранилось столько лет? Конечно, все могло быть, однако для отыскания фельетона не требовалось ни слишком крепкой памяти, ни газетных подшивок — в 1913 году фельетон «Диссонанс» был перепечатан в 6-м томе Полного собрания сочинений Л. Андреева (СПб., Т-во А. Ф. Маркс, с. 329—333). А писательский престиж Андреева стоял в те годы достаточно высоко, чтобы читать все, подписанное этим именем и включенное в собрание сочинений.

МОРФОЛОГИЯ СКАЗКИ

ТАИНА ФАНЕРНЫХ ЧЕМОДАНОВ

В начале нашего повествования мы упомянули о человеке, который еще в годы гражданской войны держал в руках и читал рукопись «Тихого Дона». Его воспоминания донесли до нас Алла Гербурт-Йогансен, вдова украинского поэта Майкла Йогансена (настоящее имя — Михаил Кравчук). Вот что она рассказала в своем письме Шведской Королевской академии от 24 ноября 1965 года*:

«С 1930 до 1937 года я жила в доме писателей «Слово» в Харькове. Через своего мужа М. Йогансена я была знакома со многими литераторами. Как-то утром [пропуск в машинописи. —

* Письмо А. Гербурт-Йогансен опубликовано в журнале «Континент» (№ 44, 1985, с. 303—308); мы пользуемся ксерокопией машинописного оригинала. В приводимых цитатах выправлена сильно украинизованная орфография подлинника («литераторами», «туберкулезом» и т. п.).

Б.-С.] [года] Днепровский, тяжело больной туберкулезом, позвал к себе своих лучших товарищей. «Иди и ты, — сказал мне Йогансен, — Днепровский хочет рассказать что-то очень важное и интересное».

Затем, после описания наголо бритого и бледного Днепровского, следует то самое «очень важное и интересное»:

«Он рассказал, как во времена гражданской войны 1919—1920 гг. его, после перенесенного сыпного тифа мобилизовали в Красную Армию, и так как он был слабосильный, но «грамотный», поставили писарем в комендатуре той части, которая производила расправу с остатками несобойной уже к сопротивлению белой армии. Где-то на Дону, я забыла, где именно. Операции сводились к тому, что днем делали облаву, а ночью всех расстреливали из пулеметов. Вещи убитых командиры забирали себе. Однажды на рассвете, после очередной ночной расправы, в помещенье, где дежурил Днепровский (спать он не мог из-за грома канонады и страшных криков), вошел начальник с двумя деревянными чемоданчиками в руках. Он передал их Днепровскому со словами: «Ты, Ваня, у нас литератор, понимаешь в литературе, прочитай и скажи, стоит ли чего-нибудь эта писанина». Рукопись произвела на Днепровского сильное впечатление: это была настоящая большая литература, но антисоветская. Об этом он сказал командиру, возвращая рукопись [...] Фамилию того расстрелянного офицера Днепровский называл, но я ее забыла».

Такова первая часть сообщения Днепровского. За ней следует рассказ о мятарствах Днепровского — борца за правду:

«Через восемь лет, читая только что вышедший и сразу нашумевший «Тихий Дон», Днепровский был поражен, узнав в нем произведение, которое в дни гражданской войны командир давал ему для оценки».

Хранить в себе эту жуткую тайну писатель не смог и:

«После некоторых колебаний, Днепровский поехал в Москву. Сведения о Шолохове, которые он получил в тамошних литературных кругах, не противоречили наличию плагиата».

Отметим первую странность — Днепровский, в отличие от Аллы Йогансен, имя истинного автора помнил. Поэтому, оказавшись Шолохов даже не «маляром, грузчиком, конторщиком», который, «с 1922 г. проживает в Москве», а белым офицером и выпускником Оксфорда, суть дела не меняется — имя автора «Тихого Дона» известно, и автор этот — не Шолохов!

Так или иначе:

«Иван Днепровский явился на аудиенцию к М. Горькому, который возглавлял Горьковский комитет при Союзе писателей, и рассказал ему о своем открытии. Горький очень внимательно выслушал, попросил подать заявление в письменном виде, обещал выяснить дело и дать ответ через пару дней».

Но:

«Напрасно ходил Днепровский целую неделю в Союз писателей в надежде на свидание с Горьким. Горький не принимал больше по болезни и скоро слег на лечение в Кремлевскую больницу».

Один служащий Московского государственного издательства, украинец, знакомый Днепровского, которому Днепровский рассказал причину своего приезда в Москву, сказал: «Мы и сами это знаем. К нам в бухгалтерию, вскоре после выхода «Тихого Дона», приходила пожилая дама в трауре и требовала гонорар за это произведение ее сына. Мне жаль, что ты даром теряешь тут время, без денег в чужом городе. Горький ведь не вернется. Мой тебе, Ваня, совет: возвращайся домой и никогда, никому про это не рассказывай».

Единственное, что напоминает заключительный аккорд нашей истории, — это фразу из романа писателя — земляка Днепровского: «Варенуха, никуда не ходи и телеграммы эти никому не показывай!»

Итак, Днепровский, как и Варенуха, нарушил запрет. Но что гарантирует достоверность его собственных слов? Ну, во-первых, перед смертью человек, как правило, не лжет... Во-вторых, какой был смысл врать? Ничего, кроме неприятностей, такие рассказы ни Днепровскому, ни его слушателям принести не могли. Есть, конечно, в рассказе и несуразности: «Тихий Дон» вышел в 1928 году. Днепровский некоторое время колебался, а затем обратился к Горькому... Но что это за таинственный Горьковский комитет при Союзе писателей? Видимо, имеется в виду «Оргкомитет Союза советских писателей», который, действительно, возглавлялся М. Горьким. Правда, «Оргкомитет» был создан по решению ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года... Не четыре же года Днепровский колебался и собирался в Москву!? Впрочем, вероятнее всего, мы имеем дело с обычной абберацией памяти Аллы Гербурт-Йогансен — невозможно же 30 лет помнить, когда у них какое постановление вышло!

Заканчивая рассказ о Днепровском, Алла Гербурт-Йогансен пишет:

«В Харькове агенты НКВД два раза приходили арестовывать Днепровского. Но так как тогда уже состояние его здоровья настолько ухудшилось, что его нельзя было транспортировать — оставили умирать дома».

Тут нужно сделать еще одну поправку: умирать его, быть может, оставили дома, но умер он 1 декабря 1934 года в Ялте. Возможно, в памяти А. Гербурт-Йогансен слились два события — смерть и похороны (хоронили Днепровского, действительно, в Харькове).

Но с каким бы доверием ни отосылались мы к рассказу г-жи Гербурт, совершенно очевидно, что две части его неравноценны, и вторая имеет значение лишь в той мере, в какой истинна первая его часть.

Истинна ли она? Действительно ли Днепровский держал в руках рукопись романа, написанную рукой подлинного автора? Напомним еще раз обстоятельства происшествия: сыпной тиф, мобилизация в Красную Армию, слабосильная команда, Дон, расстрелы, рукопись...

Украинский писатель Иван Днепровский (он же: Шевченко Иван Данилович) родился 8 марта (24 февраля ст. ст.) 1895 года. В первую мировую войну был призван в армию, где в газете Юго-Западного фронта «Армейский вестник» опубликовал в 1916 году свои первые (еще по-русски) стихи. Служил он до 1918 года, а в феврале 1919-го поступил на филологический факультет Каменец-Подольского университета, который и окончил в 1923 году.

Вот и все сведения о жизни Ивана Даниловича Днепровского-Шевченко в огненные годы революции и гражданской войны, вошедшие в справочник «Українські письменники. Био-бібліографічний словник» (т. 4, Київ, 1965, с. 409). Ничего не сказано, например, о том, чем занимался будущий писатель с момента демобилизации из разбежавшейся старой армии (то есть не позднее февраля 1918 года) до поступления в Каменец-Подольскую «сорбонну» в феврале 1919-го. А ведь все это время, да

и в феврале 1919-го, в городе целиком и полностью хозяйничали интервенты и петлюровцы. И не просто хозяйничали, но собирали в Каменец-Подольске мощный румыно-франко-сербский военный кулак, нацеленный в самое сердце Советской Украины*. Причин умолчания об этом биографическом отрезке могло быть множество, и, быть может, какая-то из них объяснила бы нам острый интерес НКВД к чужоточному писателю?.. Не будем гадать, интереснее другое: не было и не могло быть у составителей 4-го тома справочника «Українські письменники» никакой причины скрывать службу писателя в Красной Армии!

А значит: писатель Иван Днепровский в Красной Армии не служил, писарем при красноармейской комендатуре не был, красные его на Дон не посылали... Иными словами, весь рассказ о фанерных чемаданах, антисоветских рукописях и разговорах с Горьким — все это, как нам ни больно, ложь от первого до последнего слова.

Зачем Днепровский мистифицировал своих коллег? Этого мы никогда не узнаем. Быть может, он излагал замысел задуманного им произведения, а литературно невинная Алла Йогансен этого не поняла?

А может быть, для него самым важным было вовсе не рассказать о Шолохове и Горьком, а придумать себе красноармейское прошлое, тогда как на самом деле...

Так или иначе, перед нами еще одна легенда, дошедшая из вторых уст через третьи руки.

СЛЕД «ТАРАСОВ»

«Все, абсолютно все фантастично, что связаю с Илей Самсоновичем», — пишет Лилия Беляева в очерке, посвященном старому большевику И. С. Шкапе. Во-первых, ему 90 лет; во-вторых, только 70 из них он провел на воле; в-треть-

* Доклад народного комиссара по военным делам т. Н. И. Подвойского [...] 1 марта 1919 г. — «Из истории гражданской войны в СССР», т. 1. М., 1960, с. 365.

их, он не просто живой, но живой «бухаринец»... Но и этого мало: И. С. Шкапа был другом М. А. Шолохова. К Шолохову Шкапа и пришел в 1955 году после отсидки. А перед тем, как сестра, Шкапа, под литературным псевдонимом Гриневский, заведовал «историей текущей культуры» в журнале «Наши достижения». Еще он написал книгу «Крестьянин о советской власти», а Горький дал к ней предисловие. А о второй книге Шкапы — «Лицом к лицу», о поездке вместе с ударниками труда вокруг Европы — Горький писал в письме: «Интересная ваша книга». Значит, кроме Шолохова, ходил у Шкапы в друзья еще и Максим Горький!

Понятно, что журналистка не в силах сдержать себя и задает —

«нечаянный вопрос: а как Максим Горький относился к Михаилу Шолохову?»

— Сначала с некоторым подозрением. Нашлись, наговорили, мол, не мог молодой человек написать такое совершенное произведение, это компиляция из Тарасова, был такой бытописатель... [..] И все-таки, на мой взгляд, он (Горький. — Б.-С.) умер с ощущением неполного понимания феномена Шолохова»*.

Почему вырвался у Л. Беляевой нечаянный вопрос, ясно: слишком много и часто говорилось, что Горький знал правду о романе и Шолохове. Толкового ответа на свой вопрос журналистка, конечно, не получила. Зато мы получили сведения о возможном авторе «Тихого Дона», причем сведения, исходящие из ближайшего окружения А. М. Горького.

Имя Тарасова в числе возможных кандидатур на авторство романа никогда еще не называлось. Уже одно это заставляет нас отнестись к словам И. С. Шкапы со всем вниманием.

Итак, что же мы узнали? Предполагалось (не сказано кем), что роман «Тихий Дон» — компиляция из произведений (или одного произведения?) писателя Тарасова, про которого сказано, что он был бытописателем. На последнем об-

стоятельстве И. С. Шкапа останавливается особо (отвечая, быть может, на вопрос Л. Беляевой?), из чего, в свою очередь, следует, что Тарасов — личность не особенно известная.

Скажем больше: совсем неизвестная. Все наши поиски привели лишь к обнаружению Тарасова Евгения Михайловича (1882—1943), который, однако, никакой не бытописатель, а поэт, автор стихотворения «Смокли залпы запоздалые...» (1906)*.

Впрочем, нельзя исключать, что Шкапа имел в виду не простого Тарасова, а какого-то особенного...

Такой непростой Тарасов, действительно, имелся — Александр Игнатьевич Тарасов-Родионов. В свое время, если Шкапа имел в виду данного Тарасова, объяснять, кто он такой, нужды не было, напротив, многие были бы рады о нем не знать...

А. И. Тарасов-Родионов родился в Астрахани, в семье землемера, в 1885 году и окончил юридический факультет Казанского университета в 1908-м. При этом ему удавалось совмещать учебу с пребыванием в рядах РСДРП (с 1905 года). В марте 1917-го его посылали в Царское Село проверить, как содержится под стражей свергнутого монарха. Дальше дворцовой кухни Тарасова-Родионова, правда, не пустили, однако кухней он остался весьма доволен**. После Октября Тарасов-Родионов вступил на военную стезю, дослужился до командарма, а затем с 1921 по 1924 г. работал следователем в Верховном трибунале. На этот раз он совмещал трибунал с литературой и в 1922 году опубликовал в журнале

* Беляева Лилия. «Готов ручаться за него головой.» — Литературная газета, 1988, № 47 (23 ноября), с. 5.

* «От Евгения Тарасова мы были вправе ждать хороших стихов, несмотря на то, что первая его книжка была совсем слаба. [...] На днях вышла вторая книжка его стихов — «Земные дали» (издание «Шиповника»). Боже мой, какая возмутительно лишняя, слабая и бездарная книга!» — А. А. Блок «Литературные итоги 1907 года» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, М.—Л., 1962, с. 229).

** Мстиславский С. Пять дней. Начало и конец Февральской революции. (Изд. 2-е). Берлин—Пб.—М. Изд-во З. И. Гржебина, 1922, с. 104—105.

«Молодая гвардия» нашумевшую повесть «Шоколад». В повести рассказывалось, как одному чекисту контрреволюционная буржуазия подарила несколько плиток шоколада. Получателя шоколадной взятки судит трибунал. Судьи и подсудимый приходят к единогласному мнению, что выхода нет, и героя придется расстрелять. Что и происходит. Автор полностью солидарен со своими персонажами. В 1927—1930 годах Тарасов-Родионов публикует еще две книги, обе о революции: «Февраль» и «Июль». Эти книги выполнены в виде мемуаров. Кроме того, Тарасов-Родионов работал еще в критическом жанре. Самая известная его статья ««Классическое» и классовое» (журнал «На посту», 1923, № 1) направлена против «воронщины» (то есть А. К. Воронского). В 1938 году писателя Тарасова-Родионова посадили и расстреляли, а в 1956-м реабилитировали. Вот и все о Тарасове-Родионове.

Есть, правда, одна деталь: со вступлением А. И. Тарасова-Родионова на пост главного редактора Госиздата, надолго прекратилась публикация выходявших в этом издательстве брошюр с рассказами М. Шолохова. При этом в личном письме (от 21 июня 1927 г.; ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. хр. 431, л. 4) Тарасов-Родионов уверял Шолохова в «дружеском содействии», однако в это же самое время, выкинул из 9 рассказов шолоховского сборничка «О Колчаке, крапиве и прочем» (М.—Л., Госиздат, 1927) сначала 4 рассказа, а потом еще один*. Вот она — личная, документально подтвержденная связь Тарасова-Родионова с Шолоховым. Смутные указания Шкапы обретают наконец какую-то определенность.

Но одно обстоятельство портит всю картину — бытописание. Во многом можно упрекнуть Тарасова-Родионова — в литературной неопытности, в надуманности фа-

бул, в идеологической непримиримости... Но ярлык бытописателя ему никто еще не отказывался прилепить. Никакого быта Тарасов-Родионов не описывал и описывать не умел. Не говоря уже о том, что вряд ли влиятельный в 20-е годы Тарасов-Родионов позволил бы юному наглецу из провинции безнаказанно раскулачивать свои произведения, добавим последний штрих: Тарасов-Родионов никогда не писал о казаках.

На этом, собственно, можно поставить точку. Что-то Шкапа то ли запамятовал, то ли напутал...

Допустим, однако, последнее: Шкапа что-то напутал. Что именно и в чем? Вот он упомянул фамилию «Тарасов», мы доверились Шкапе, добрались до Тарасова-Родионова, убедились, что он искомым «Тарасовым» не является, и уличили Шкапу в заблуждении. А что если правы и мы, и Шкапа?!

Мы предположили, что под фамилией Тарасов скрывается Тарасов-Родионов, но ведь можно представить себе и обратный ход ассоциаций: Шкапа запомнил, что фамилия предполагаемого автора романа «Тихий Дон» напоминала фамилию популярного писателя Тарасова-Родионова, только была она не двойной, а «одинарной». И тогда Шкапа называет имя «Тарасов». Но ведь он мог ошибиться и выбрать не ту «половину». А вспомнить надо было: Родионов?!

Современному читателю это имя говорит ровно столько же, сколько Тарасов-Родионов. Но в 1909 году ведущий «нововременский» критик и публицист М. О. Меньшиков сравнил его книгу с «Воскресением» Толстого и называл его «знаменитым в будущем писателем» («Новое время», 1909, 25 октября). Корней Чуковский счел это произведение «самой отвратительной, самой волнующей, самой талантливой из современных книг» («Речь», 1910, 28 февраля).

Книга, о которой говорили такое, называлась «Наше преступление (Не бред, а был)». Из современной народной жизни» и в 1909—1910 годах вышла шестью издани-

* Гуря В. Вечно живое слово (Новые материалы о Шолохове). — Вопросы литературы, 1965, № 4, с. 16—17

ями. Автора звали Иван Александрович Родионов.

По содержанию своему «Наше преступление» более всего напоминает писания ранних «деревенщиков» (Яшина, Шукшина, Семина). Народ у Родионова спился, в деревнях что ни день пьяные драки и убийства по пьянке. Процветает пьяный разврат, не различающий возраста и родства. Население вырождается... А виноваты во всем «мы», то есть интеллигенция и те, кому вручены бразды правления.

Прогрессивная и либеральная печать единодушно объявила И. А. Родионова черносотенцем. Любовь Гуревич в «Русской мысли» (1910, № 5) возмущалась тем, что у Родионова вместо «высшей правды — кошмары эмпирической правды», вместо «настоящего искусства — фотография», обличала «полную художественную некультурность автора» и порицала К. Чуковский за эстетическую всеядность*. М. Горький, негодуя, писал о «злой и темной книге» Родионова («Современный мир», 1911, № 2), а сотрудник Горького Е. Смирнов называл ее «гнусным пасквилем» на русское крестьянство (там же).

Горький долго не решался прочесть «Наше преступление» и писал по этому поводу: «Я не читал книгу Родионова и, должно быть, не буду читать ее. Плохое в людях и жизни — мало интересует меня, я вижу его слишком много».

Самое поразительное, что от письма, из которого взяты эти слова, протягивается нить к еще не рожденной тайне «Тихого Дона» — письмо было послано в декабре 1909 года Федору Крюкову**.

Из биографии И. А. Родионова известно немного. Книгу свою он писал по живым следам, будучи земским начальником в Боровичах

(Новгородской губ.)*. Был близок к церковным кругам, о чем можно судить по одному эпизоду из воспоминаний Сергея Труфанова (бывший иеромонах Илиодор):

«В декабре 1911 года я приехал в Питер к владыке, приехал из Ялты и Гриша (Распутин. — Б.-С.). [...] Мне сказали, что ходят в свете слухи, что Гриша живет с Царницей. [...] Я отвез Гришу к владыке. Владыка заклинал Гришу не ходить без его и моего благословения в Царский Дом. Митя (Козельский, один из придворных юродивых. — Б.-С.) начал бранить его и хватать за член. Гриша обещался с клятвой перед иконой с мощами не ходить к Царям. Свидетели этому — я и Ив. Ал. Родионов»**.

Опубликовал И. А. Родионов, кроме «Нашего преступления», еще несколько книг «Москва-матушка» (Былина)» (Спб., 1911; 2-е изд.: Берлин, 1921); «Любовь» (Берлин, из-во «Град Китеж», 1922); «Царство Сатаны» (Берлин, б. г.).

Еще известно о Родионове, что был он страстный антисемит и оставался им до последнего вздоха. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (он же — князь Д. Шаховской, он же — поэт Странник) в письме генералу П. Н. Краснову, предостерегая об опасностях юдофобства, рассказал о смерти писателя:

«Вот бедняк Ив. Ал. Родионов, пред кончиной своей, вздумал «перетолковать» Апокалипсис, сообразно своим идеям; и — сын его, Гермоген, мне рассказывал, что нельзя передать, до чего УЖАСНА была кончина его отца. Буквально, словно какой-то невероятный ужас дьявольский вздыбил Ивана Ал., после чего он упал бездыханным... Мы предупреждали Ив. Ал., что Слово Божие есть меч обоюдоострый...»***

С генералом П. Н. Красновым мы вступаем в самую волнующую область нашего повествования — Область Войска Донского. Дело в том, что генерал знаком был с Родионовым не понаслышке: еще в 1918 году Краснов пору-

* «Без мерил («Наше преступление» И. Родионова и Л. Чуковский). — В кн.: Гуревич Л. Литература и эстетика. Критические опыты и этюды. М., «Русская мысль», 1912, с. 133—140.

** М. Горький. Письмо Ф. К. Крюкову (Публикация Б. Н. Двинянинова). — «Русская литература», 1982, № 2, с. 98.

* Нинов А. А. Бунин и Горький. 1899—1918 гг. — «Иван Бунин», кн. 2 («Литературное наследство», т. 84). М., «Наука», 1973, с. 65.

** Илиодор, б. иеромонах (Сергей Труфанов). Гриша. — В кн.: Белецкий С. П. Григорий Распутин (Из записок). Птрг., «Былое», 1923, с. 97.

*** Странник. Переписка с ген. П. Н. Красновым. — «Континент», № 56, 1983, с. 317; Странник приводит название еще одной книги И. А. Родионова: «Сыны дьявола» (возможно, имеется в виду «Царство Сатаны»).

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

чил ему издавать газету Всевеликого Войска Донского «Донской край». Чести этой Родионов удостоился как за «Наше преступление», так и за безупречное происхождение — был он донской казак и казачий есаул*.

Казак, антибольшевик, в самой гуще событий... Такому человеку только «Тихий Дон» и писать!

Беда, однако, в том, что Родионов сразу по следам событий обо всем этом и написал: повесть «Жертвы вечерние (не вымысел, а действительность)» (Берлин, 1922). Не напиши он этой повести, был бы кандидатом в авторы «Тихого Дона» не хуже других...

«Жертвы вечерние» — повествование о жертвах гражданской войны на Юге и о причинах войны. На всем протяжении книги главный герой, юный казачий офицер, в долгих беседах с возлюбленной обнажает тайные пружины творящихся безобразий — жида и масоны... Это то, что касается идеологии. А вот — художественные особенности:

«Его (Чернецова. — Б.-С.) легендарные победы окрылили надежды всех тех, кто стоял на стороне порядка и государственности, кто ненавидел злую разрушительную силу, кто хотел спасения казачества, а через него и всей России. Все лучшие надежды и чаяния сосредоточились главным образом на одном Чернецове, он являлся всеми признанным антибольшевистским вождем...»

Это вам не «Тихий Дон»... Ох, не «Тихий Дон»!..

Что из всего этого следует? Ясно, что Родионов «Тихого Дона» не писал и написать не мог (в этом отношении он очень близок к Шолохову)... Но самое главное — Горький! Из рассказа Шкапы можно сделать однозначный вывод: не сам Горький, ни его ближайшее окружение имени подлинного автора романа не знали, хотя понимали (не могли не понять), что был он не Шолохов, а белогвардеец.

«Тихий Дон»!.. Как будто на одном «Тихом Доне» зиждется меркнущая слава Шолохова, — есть ведь еще «Поднятая целина»!

Правда, злопыхатели нет-нет да и тявкнут, что, мол, «Поднятая целина» хуже «Тихого Дона». Что значит — хуже? Где доказательство?

Возьмем хоть первую книгу «Целины», главу, скажем, 21-ю:

«По плану площадь весенней пахоты в Гремячем Логу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 — целины. Под зябь осенью было вспахано — еще единоличным порядком — 643 гектара, озимого жита посеяно 210 га. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масляным культурам следующим порядком: пшеницы — 667 гектаров, жита — 210, ячменя — 108, овса — 50, проса — 65, кукурузы — 167, подсолнуха — 45, конопли — 13. Итого — 1325 га плюс 91 га отведенной под бахчи песчаной земли, простирающейся на юг от Гремячего Лога до Ужачиной балки.

На расширенном производственном совещании, состоявшемся 12 февраля и собравшем более 40 человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, о ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ.

По совету Якова Лукича, Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего — 4669 пудов».

Да!..И ведь это не просто повернувшийся под руку отрывок — это один из трех образцов романа, которые Шолохов, гордясь собой, отобрал для публикации в «Правде». Чтоб все увидали, как он умеет!

Вот еще кусок, из той же 21-й главы, в том виде, как он 15 февраля 1932 года появился в «Правде» (№ 45, с. 3):

«После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки: Твердой земли на плуг 0,60 гектара.
Мягкой земли на плуг 0,75 гектара.

И по высеву для садиков:
11-рядной 3 1/4 гектара.
13-рядной 4 гектара.
17-рядной 4 3/4 гектара.

При общем наличии в Гремячем Логу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич...»

Это что такое?! Что за жанр

* Мельников Н. М. А. М. Каледин — герой Луцкого прорыва и Донской Атаман. (Париж). «Родимый край», 1968, с. 238.

такой? Да ведь это — протокол! Ей-Богу — протокол. Общего собрания колхозного актива.

И, главное, никаких сомнений в авторстве. Почему? А потому, что биографы раскопали самый ранний образец шолоховской прозы — об установлении величины посевов, как-то величина устанавливалась: «путем агитации в одном случае, путем обмера — в другом и, наконец, путем того, что при даче показаний и опросе относительно посева местный хуторской пролетариат сопровитывопоставлялся с более зажиточным классом посевищиков».

Это произведение хранится в Шахтинском филиале Госархива Ростовской области (фонд Р-760, ед. хр. 209, л. 13 об.) и представляет собой обязательный реферат, который 16-летний Миша Шолохов писал, обучаясь в февраль—апрель 1922 года на курсах продинспекторов*.

Читая такое, испытываешь гордость за Шолохова, и через 10 лет не изменившего своей творческой манере. С другой, правда, стороны, будит это чтение какое-то бешенство, когда тебя уверяют, что протокол, реферат и «Тихий Дон» вывела одна и та же рука.

Но вот Солженицын в третьем томе «Очерков литературной жизни», десять страниц посвятив разбору этой литературной завали и тому, как послушно исполнял Шолохов социальный заказ, вдруг восклицает: «А пейзажи? ...такое несчастно и во всей русской литературе найдешь»**.

Тут же и пример: «Под самой тучевой подошвой, кренясь, лоя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния... уронив горловой баритонистый клетот... сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух... сухим треском ударил гром...»

И не один такой пейзаж в книге. Нет — вот и «месяц золотой

* Палшков А. Молодой Шолохов (по новым материалам). — «Дон», 1964, № 8, с. 170; Воронин В. Юность Шолохова (Страницы биографии 1905—1928 гг.). — «Дон», 1985, № 5, с. 159.

** По донскому разбору. — Вестник РХД, № 141, 1984, с. 132.

насечкой на сизо-стальной кольчуге неба», лиса мышкует, конь без всадника, могильный курган...

«Впрочем, — спохватывается Солженицын, — с этими пейзажами — такая странность. Замечаешь: а почему ж эта великолепная туча никак не связана ни с настроением главы? ни с окружающими событиями? как будто она и не намочила никого?.. Ее можно перенести на несколько глав раньше или позже — и так же будет стоять...»

Но ведь, замечает Солженицын, и все другие пейзажи — мороз или таяние — тоже «свободно переставляемы!»

Однако такая свобода передвижения дается не всем. Вот, например, глава 34-я. Начинается она с описания могильного кургана. Тут же подходит Макар Нагульнов. Его только что из партии исключили. Вот он и подумывает: а не застрелиться ли мне, в самом деле?! Классический образец прямой и обратной связи пейзажа и настроения.

Вглядимся, впрочем, в курган. При этом вглядимся в него не по книжному тексту и даже не по журнальной публикации*... Рукопись, конечно, как водится, пропала, но тут такое чудо приключилось — отыскались 155 страниц наборной машинописи с шолоховской правкой. Вот к этой допечатной редакции** мы и обратимся:

«Сбочь дороги — могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней польни и донника, угрюмо ниснут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно-тусклые¹, выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней выветрившейся почвой свои волокнистые былки², весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески уныло³, отжившие⁴, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной бе-

* Новый мир, 1932, № 7/8, с. 87.

** Бекедин П. В. М. А. Шолохов в работе над «Поднятой целиной» (Авторская правка в наборной машинописи первой книги романа). — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 год». Л., «Наука», 1984, с. 230—231, 236—237.

¹ В книжных изд.: «Безрадостно тусклые»; ² Вставка в машинопись: «даже»; ³ В журнальной ред.: «старчески уныло»; ⁴ В книжных изд.: «отжив-

линой. И только лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь⁵, одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.

Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подблация степной беркут⁶. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить погнутым⁷ клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно-синее небо янтарный, окользящий черным ободком глаз. неподвижный, изжелта-бурый, как камень-самородок⁸, беркут отдыхает⁹ перед вечерней охотой¹⁰ и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.

Куда унесет его знобящий осенний ветер¹¹? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую степь ли? В Персию¹²? В Афганистан?»

Тут что потрясает? Потрясает размах, в первую очередь — географический: Кавказ, Закавказье, Персия, Афганистан... Интересно, с чего это беркута понесло в такую даль? Нагульнов, к примеру, в тех краях отродясь не бывал. А бывал он на Дону, где родился и откуда ушел на германский фронт (см. гл. 4), в 1920-м — под Каховкой и Бродами (см. гл. 24), был ранен и контужен под Касторной (гл. 4, 32), то есть служил, как можно догадаться, в Первой Конной; затем вернулся на Дон, провел коллективизацию и умер. Проще говоря, допустив связь беркута с Макаром Нагульновым, мы оказываемся свидетелями полнейшего авторского произвола.

Перестанем поэтому цепляться за Нагульнова и отправимся по указанному беркутом странному и загадочному маршруту.

Что может связать донскую степь с предгорьями Кавказа, Персией и Афганистаном?

Лишь одно — биография генерала Л. Г. Корнилова! Это он совершал бесстрашные разведки в Афганистане, первым исследовал соляные пустыни в Персии, сражался на Дону и погиб при штурме Екатеринодара, «в голубых предгорьях Кавказа». Труп Корнилова был вырыт красными из могилы, проташен по улицам Екатеринодара, изуродован и сожжен на городской бойне. Прах генерала был растоптан и развеян ветром.

«Куда унесет его знобящий осенний ветер?..»

Вдова Корнилова сказала тогда вдове атамана Каледина: «Счастливая, у вас есть могила, а у меня и могилы нет...»* Могильный курган в донской степи и должен стать символом вечной памяти о лишенном могилы великом человеке.

Правда, на нашей «розе ветров» вырос один лишний лепесток — Муганская степь! Она не только к Нагульнову, но и к Лавру Георгиевичу Корнилову никакого отношения не имеет... Но именно эта степь и может служить решающим доказательством.

Начнем с того, что ветру, пожелавшему доставить беркута из предгорий Кавказа в Муганскую степь, пришлось бы передуть через Большой Кавказский хребет — 3000 метров над уровнем моря. На такой высоте парят уже не степные беркуты, а горные орлы.

Но наше внимание останавливает «степь». Вот Федор Константинович Годунов-Чердынцев, герой نابоковского «Дара», пытается представить себе возможную картину гибели отца:

«Долго ли отстреливался он, припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели ли его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда [...], приняв за белого шпиона (да и то сказать: с Лавром Корнило-

шие»; ⁵ Вставка в машинопись: «весь»; ⁶ В машинописи не разобрано зачеркнутое слово; ⁷ В книжных изд.: «изогнутым»; ⁸ Журнальный текст и книжные изд. следуют вложенной в машинопись правке: «Как камень-самородок, неподвижный и изжелта-бурый (...); ⁹ В журн. редакции и книжных изд.: «отдохнет»; ¹⁰ В книжных изд.: «ловитвой»; ¹¹ В соответствии с правкой, вложенной в машинопись, в журн. и книжн. публикациях: «унесут его знобящие осенние ветры»; ¹² Вставка в машинопись: «ли».

* Севский В. Генерал Корнилов. Ростов н/Д. Изд. Корниловского ударного полка, 1919, с. 96.

вым однажды в молодости он объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае?*

В среде русских географов исследование Степи Отчаяния (Дашти-Наумед, на современных картах: Дашти-Наумид) — безжизненной соляной пустыни, раскинувшейся между 32-й и 33-й параллелями, считалось самым замечательным достижением Корнилова-путешественника. Следовательно, в непредвзятом повествовании о Л. Г. Корнилове (принадлежи оно Автору «Тихого Дона» или Набокову) вероятнее всего следовало бы ожидать упоминания именно об этой экспедиции.

Мало того — Степь Отчаяния идеально вписывается во внутреннюю географию текста — «В Муганскую степь ли? В Персию? В Афганистан?», поскольку находится как раз на границе Ирана и Афганистана.

Подготавливая 34-ю главу к печати, Шолохов сделал в этом месте мельчайшее добавление — вставил невинную частицу «ли»:

«В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?»

Цель правки очевидна: еще больше отдалить «степь» от Персии. Но, определив направление редакции, мы можем сделать и шаг назад — в дошолоховское прошлое текста. Там «Персия» входит не в вялую цепочку однородных обстоятельств места, но служит пояснением к предшествующему наименованию и

отделяется от «степи» не вопросительным знаком, а запятой:

«Куда унесет его знобящий осенний ветер? В голубые предгорья Кавказа? В Степь ли Отчаяния, в Персию? В Афганистан?»

А теперь последний вопрос: откуда взялся этот отрывок? Стилистически он весьма близок роману «Тихий Дон»; генерал Корнилов является одним из персонажей романа; по ряду деталей мы установили, что отрывок этот — поэтический реквием вождю Добровольческой армии...

Но в «Тихом Доне» смерть Корнилова не описывается! И тогда мы обращаем внимание на странную непоследовательность опубликованного текста романа.

Автор «Тихого Дона» заморожено следит за деятельностью генерала Корнилова в Ставке (кн. 2, ч. 4, гл. 13), его поездкой на Московское совещание (гл. 14), организацией и крушением корниловского «мятежа» (гл. 16, 18), пребыванием Корнилова в Быховской тюрьме и бегством из тюрьмы (гл. 20). Затем действие перебрасывается в Новочеркасск (ч. 5, гл. 3) — в Ростов, начало «Ледяного похода», совещание штаба Добровольческой армии, где Корнилов принимает решение идти на Кубань (гл. 18) и... И все!

Евгения Листницкого, уходившего из Ростова с Добровольческой армией, мы встречаем уже в следующей — 3-й — книге, после «Ледяного похода», в Новочеркасске, с ампутированной рукой. Здесь же (гл. 5) последнее и единственное упоминание о Корнилове — Листницкий вспоминает бой под Кореньской и крики ротного: «Не ложись! Орлята, вперед! Вперед — за дело Корнилова!»

Открытый нами «Реквием Корнилову» тематически на редкость удачно заполняет какую-то часть этого зияния. Однако тематическая близость еще не все. Истинно доказательными могут стать лишь внутренние связи нашего фрагмента с «корниловскими» сюжетами «Тихого Дона». Связи эти должны быть особого свойства: если некоторая линия повествования завер-

* Не исключено, что самим своим появлением в романе «Дар» Корнилов обязан «Тихому Дону». В. Набоков, публично обозвавший казачью эпопею «горой избитых банальностей», вряд ли прошел мимо такой сцены: «Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускалась планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегчающе задышал, откинулся на спинку кресла» (кн. 2, ч. 4, гл. 16).

Отец Годунова-Чердынцова, как мы помним, был выдающимся русским энтомологом, специалистом по чешуекрылым, сиречь — бабочкам.

шается символическим текстом, то в предыдущем изложении должны содержаться ключи к раскрытию символов. Ну, что ж — вот они!

Ключ фабульный:

«Куда унесет его знобящий осенний ветер? В голубые предгорья Кавказа? В Степь ли Отчаяния, в Персию? В Афганистан?»

«Тихий Дон» (кн. 2, ч. 4, гл. 16) —

[...] Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь, стал рассказывать:

— Сегодня я видел сон. Будто я — бригадный генерал одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он потчует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: «Кушай, генерал! Это молоко необычайно целебного свойства». Я будто бы пью и не удивляюсь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уж

как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе... Да, вот именно козьей тропкой: камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу за ущельем виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт...»

Ключ портретный:

«Неподвижный, изжелта-бурый, как камень-самородок, беркут отды-хает».

«Тихий Дон» (кн. 2, ч. 4, гл. 14) —

(Евгений Листницкий вспоминает встречу Корнилова 14 августа 1917 года на Александровском вокзале в Москве):

«Какое лицо! Как высеченное из самородного камня — ничего лишнего, обыденного...»

Рассказ о гибели Лавра Георгиевича Корнилова — это только часть того, что было украдено у читателей «Тихого Дона». Но что говорить о куске текста, когда украдено даже имя Автора?!!

ПОЧТА «ДАУГАВЫ»

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПОДПОЛКОВНИК...

Многие годы пытаюсь я узнать о судьбе моего отца, репрессированного на Урале в 1937 году. На мои прежние запросы пришел ответ: умер в начале 40-х годов. Но я чувствовала, что это не так, потому что именно так отвечали обычно чиновники НКВД родственникам тех латышей, которых в массовом порядке арестовывали в декабре тридцать седьмого. И я решила поехать в Свердловск, лично обратиться в областное управление госбезопасности.

Здесь я встретила человека, который на редкость добросовестно помогает таким, как я, восстанавливать правду и справедливость — подполковника КГБ Владимира Александровича Куеню.

— Гертсон Арвид-Андрей Янович? Сейчас посмотрим... Да, дело вашего отца у нас. Вы не могли бы заглянуть к нам завтра?

И вот я читаю дело отца. Его подробности пересказывать не буду: не хватит сил. Читаешь и душу переворачивает. Почти все латыши, арестованные в тридцать седьмом, якобы занимались шпионажем в пользу буржуазной Латвии, проникли в СССР для вредительства и диверсий, были завербованы еще до перехода границы...

На самом же деле мой отец перешел нелегально границу, спасаясь от безработицы, а также по идейным соображениям. Умер он не в сороковые годы, а был расстрелян без суда и следствия через два месяца после ареста.

Однако не об этом я хотела написать. Я взялась за перо, чтобы сообщить тем жителям Латвии, чьи близкие были репрессированы в тридцатые годы на Урале, адрес подполковника КГБ В. А. Куеня: 620022, Свердловск, ул. Вайнера, 4. Вот его телефоны: 571142 и 571021. В. А. Куеня проводит огромную работу по восстановлению доброго имени невинных жертв сталинщины, выступает в местной печати с очерками об их жизни, деятельности, о фальшивых обвинениях, раскрывает имена преступников-следователей. Этот человек всегда готов помочь людям.

Берта Гертсон, г. Рига

ИЗ «ПЕТЕРБУРГСКИХ ДНЕВНИКОВ»

ЧЕРНАЯ КНИЖКА

1919 г. Июнь.

С. П. Б.

*...Не забывай моих последних дней...
...О, эти наши дни последние,
Остатки неподвижных дней.
И только небо в полночь меднее,
Да зори голые длинней...¹*

Июнь... Все хорошо. Все как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разное: то с самого утра, то попозже. Но заведя — уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. В разных этажах. Кто не дудит — лежит брюхом на подоконниках, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар.

После 11 ч. вечера, когда уже запрещено ходить по улицам (т. е. после 8, — ведь у нас «революционное» время, часы на 3 часа вперед!) музыка не кончается, но валившиеся на подоконниках сходят на подъезд, усаживаются. Вокруг толпятся так называемые «барышни», в белых туфлях, — «Катьки мои толстомордецькие», о которых А. Блок написал:

«С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем гулять пошла»².

Визги. Хохотки.

Инвалиды (и почему они — инвалиды? все они целы, никто не ранен, госпиталя тут нет) — «ин-

валиды» — здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты. Слышно, будто спекулируют, но лишь по знакомству. Нам ни одной картофелины не продали.

А граммофон их звенит в ушах, даже ночью, светлой, как день, когда уже спят инвалиды, замолк граммофон.

Утрами, по зеленой уличной траве, извиваются змеями приютские дети, — «пролетарские» дети, — это их ведут в Таврический сад. Они — то в красных, то в желтых шапченках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки земляного цвета, сами голоногие. На нашей улице, когда-то очень аристократической, очень много было красивых особняков³. Они все давно реквизированы, наиболее разрушенные — покинуты, отданы «под детей». Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже пройти нельзя, — такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконниках лежат дети, — совершенно так, как инвалиды лежат, — мальчишки и девчонки, большие и малые, и, как инвалиды, глазеют и плюют на улицы. Самые маленькие играют сором на разломанных плитах тротуара, под деревьями, или бегают по уличной траве, шлепая голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в Таврический лишь по утрам. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно так же, как инвалиды.

Есть, впрочем, и много отличий между детьми и инвалидами.

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 1.

Хотя бы это одно: у детей лица желтые, у инвалидов — красные.

Вчера (28 июня) дежурила у ворот. Ведь у нас со времени весенней большевистской паники установлено бессменное дежурство на тротуаре, день и ночь. Дежурят все, без изъятия, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно сидеть на пустынной, всегда светлой улице — не знает никто. Но сидят. Где барышня на доске, где дитя, где старик. Под одними воротами раз видела дежурящую интеллигентного обличия старуху: такую старуху, что ей вынесли на тротуар драное кресло из квартиры. Сидит покорно, защищая, бедная, свой «революционный» дом и «красный Петроград» от «белых негодяев»... которые даже не наступают.

Вчера, во время моих трех часов «защиты», — улица являла вид самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючие большевистские автомобили. Маршировали какие-то ободранцы с винтовками. Словом — царило непривычное оживление. Узнаю тут же, на улице, что рядом в Таврическом дворце идет назначенный большевиками митинг и заседание их Совета. И что дела как-то неожиданно-неприятно там обертываются для большевиков, даже трамваи вдруг забастовали. Но что же, разбастуют.

Без всякого волнения, почти без любопытства, слежу за шныряющими властями. Постоянная история, и ничего ни из одной не выходит...

Женщины с черновато-синими лицами, с горшками и посудинами в ослабевших руках (суп с воблой несут из общественной столовой) — останавливаются на углах, шушукуются, озираясь. Напрасно, голубушки! У надежды глаза так же велики, как и у страха.

Рынки опять разогнали и запечатали. Из казны дается на день 1/8 хлеба. Муку ржаную обещали нам принести тайком — 200 р. фунт.

Катя спросила у меня 300 рублей, — отдать за починку туфель.

Если ночью горит электричество — значит, в этом районе обыски. У нас уже было два. Оцепляют дом и ходят целую ночь, толпясь, по квартирам. В первый раз обыском заведовал какой-то «товарищ Савин», подслеповатый, одетый как рабочий. Сопровождающий обыск друг⁴ (ужасно он похож, без воротничка, на большую, худую, печальную птицу) — шепнул «товарищу», что тут, мол, писатели, какое у них оружие! Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил: участвую ли я *теперь* в периодических изданиях? На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках (новые сыщицы-коммунистки) интересовались больше содержанием моих шкафов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст. Однако обошлось. Наш друг ходил по пятам каждой бабы.

На втором обыске женщин не было. Зато дети. Мальчик лет 9 на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дм. Серг. Но в комодах с особенным вкусом. Этот, наверное, «коммунист». При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полазить по чужим ящикам! А тут — открывай любой. — «Ведь, подумайте, ведь они детей развращают! Детей! Ведь я на этого мальчика без стыда и жалости смотреть не мог!» — вопил бедный И. И. в негодовании на другой день.

Яркое солнце, высокая ограда С. собора⁵. На каменной приступке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно протянула руку. Не на хлеб попросила — куда! Кто теперь в состоянии подать «на хлеб». На воблу.

Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор, как выключили все телефоны — мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать

друг о друге, — а увидаться еще труднее.

Извозчика можно достать — от 500 р. конец.

Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой — значит, его арестовали. Так арестовали мужа нашей квартирной соседки, древнего-древнего старика. Он не был, да и не мог быть причастен к «контр-революции», он просто шел по *Гороховой*⁶. И домой не пришел. Несчастливая старуха неделю сходила с ума, а когда, наконец, узнала, где он сидит и собралась послать ему еду (заключенные кормятся только тем, что присылают «с воли») — то оказалось, что старец уже умер. От воспаления легких или от голода.

Так же не вернулся домой другой старик, знакомый З.⁷ Этот зашел случайно в швейцарское по-собство, а там засада.

Еще не умер, сидит до сих пор. Любопытно, что он давно на большевистской службе, в каком-то учреждении, которое его от Гороховой требует, он нужен... Но Гороховая не отдает.

Опять неудавшаяся гроза, — какое лето странное! Но посвежело.

А в общем, ничего не изменяется. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Не дают полторы тысячи, — малы. Отдала задешево. Есть-то надо.

Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам А. Ф. Кони⁸. Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой, 75-летний старец. За пролетку и крупу решил «служить пролетариату». Написал об этом «самому» Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду: «Товарищи, А. Ф. Кони — наш! Вот его письмо!». Уже объявлены какие-то лекции Кони — красноармейцам.

Самое жалкое — это что он, кажется, не очень и нуждался. Дима* не так давно был у него. Зачем же это на старости лет? Крупы будет

больше, будут за ним на лекции пролетку посылать, — но ведь стыдно!

С Москвой, жаль, почти нет сообщений. А то бы достать книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом»⁹. Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор¹⁰. (Издавна злоупотребляет наркотиками.)

Валерий Брюсов — один из наших «больших талантов». Поэт «конца века», — их когда-то называли «декадентами». Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и с Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои долготелные друзья — чуть не первыми пришли к большевикам? Впрочем, — какой большевик — Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах¹¹. Он и А. Белый — это просто «потерянные дети»¹², ничего не понимающие, аполитичные и отныне и до века. Блок и сам как-то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше.

Но бываю времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. Пусть у Блока, да и у Белого, — «душа невинна»: я не прощу им никогда.

Брюсов другого типа. Он не «потерянное дитя», хотя так же безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я не жалею. Я жалею его самого.

Все-таки самый замечательный русский поэт и писатель — Сологуб¹³, — остался «человеком». Не пошел к большевикам. И не поидет. Невесело ему зато живется.

Молодой поэт Натан В.¹⁴, из кружка Горького, но очень восставший здесь против большевиков, — в Киеве очутился на посту Луначарского. Интеллигенты стали под его покровительство.

Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой — лапоть.

* Д. В. Философов.

Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера. Разломают и растаскают.

Таскают и торцы. Сегодня сама видела, как мальчишка в невинном виде разбирал мостовую. Под торцом доски. Их еще не трогают. Впрочем, нет, выворачивают и доски, ибо кроме «плешин» — вынутых торцов, — кое-где на улицах есть и бездонные ямы.

Н. был арестован в Павловске на музыке, во время облавы. Допрашивал сам Петерс¹⁵, наш «беспощадный» (латыш). Не верил, что Н. студент. Оттого, верно, и выпустил. На студентов особенное гонение. С весны их начали прибирать к рукам. Яростно мобилизуют. Но все-таки кое-кто выкручивается. Университет вообще разрушен, но остатки студентов все-таки нежелательный элемент. Это, хотя и — увы! — пассивная, но все-таки оппозиция. Большевики же не терпят вблизи никакой, даже пассивной, даже глухой и немой. И если только могут, что только могут, уничтожают. Непременно уничтожат студентов, — останутся только профессора. Студенты все-таки им, большевикам, кажутся *коллективной* оппозицией, а профессора разъединены, каждый — отдельная оппозиция, а они их преследуют отдельно.

Сегодня прибавили еще 1/8 фунта хлеба на два дня. Какое объединение.

Ночи стали темнее.

Да, и очень темнее. Ведь уже старый июль в половине. Сегодня 15 июля.

Косит дизентерия. Направо и налево. Нет дома, где нет больных. В нашем доме уже двое умерло. Холера только в развитии.

16 июля. Утром из окна: едет воз гробов. Белые, новые, блестят на солнце. Воз обвязан веревками.

В гробах — покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удается. Запах я не слышала, хотя окно было отворено. А на Загородном — пишет «Правда» — сильно пахнут, когда едут.

Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 р. (ей уда-

лось добыть ордер казенный!), стояла в очереди сегодня, вчера и третьего дня с 7 час. утра до 5. Десять часов подряд.

Ничего не получила.

А И. И. ездил к Горькому, опять из-за брата (ведь у И. И. брата арестовали).

Рассказывает: попал на обед, по несчастью. Мне не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, горьковский, кусок в рот; но, признаюсь, был я голоден, и неприятно очень было: и котлеты, и огурцы свежие, кисель черничный...

Бедный И. И., когда-то *буквально спасший Горького от смерти*¹⁶. За это ему теперь позволено смотреть, как Горький обедает. И только; потому что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели! Ну и пусть вашего брата расстреляют!».

Об этом И. И. рассказывал с волнением, с дрожью в голосе. Не оттого, что расстреляют брата (его, вероятно, не расстреляют), не оттого, что Горький забыл, что сделал для него И. И., — а потому, что И. И. *видит* теперь Горького, настоящий облик человека, которого он любил... и любит, может быть, до сих пор.

Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде всего не только не культурный, но *неспособный* к культуре внутренне. А кроме того — у него совершенно бабья душа. Он может быть и добр — и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Он какой-то бессознательный. Сейчас он приносит много вреда, играет роль крайне отрицательную — но все это, в конце концов, женская пассивность, — «путь Магдалинин». Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо никогда не поймет своих грехов.

Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на которых мы сидим месяцами (равно как и И. И.) — право, пища более здоровая!

Старика Г., знакомого З. (я о нем писала), не выпустили, но отправили в Москву, на работы, в лагерь. Обвинений никаких. На работу нужно ходить за 35 верст.

Что-то все делается, делается, мы чуем, а что — не знаем.

Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» — абсолютная чепуха. А это наши две *единственные* газеты, два полулистика грязной бумаги, — официозы. (В «коммунистическом государстве» пресса допускается ведь только *казенная*. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, — казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает, издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги соответственные еще не написаны, все старые — «контрреволюционные»; можно подождать, кстати и бумаги мало. Ленинки печатать — и то не хватает.)

Что пишется в официозах — понять нельзя. Мы и не понимаем.

И никто. Думаю, сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день. Зеленая армия ширится¹⁷.

Дизентерия, дизентерия... И холера тоже. В субботу пять лет войне. *Наша* война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю!

Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа.

Дмитрий* сидит до истощения, целыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для «Всемирной литературы»¹⁸. Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов — Тихонова¹⁹, для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются — да и незачем их печатать.

Платят 300 ленинок с громадного листа (ремингтон на счет переводчика), а за корректуру — 100 ленинок.

Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом,

переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.

Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то, в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копейка, поданная Горьким Мережковскому.

На копейку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинок, полдня жизни) — не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны.

Ощущение *лжи* вокруг — ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.

Сегодня опять всю ночь горело электричество — обыски. Верно, для принудительных работ.

Яркий день. Годовщина (пять лет!) войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда, этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя! Я уже не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями *всей* Европе, и победителям и побежденным! Помню, как я упрямо, до тупости, восставала на войну, шла против если не всех, — то многих, иногда против самых близких людей (не против Д. С.*, он был со мной). Общественно — мы звука не могли издать не военного, благодаря царской цензуре. На мой доклад в Религиозно-Философском О-ве, самый осторожный, нападали в течение двух заседаний²⁰. Я до сих пор утверждаю, что здравый смысл был на моей стороне. А после мне приходилось выслушивать такие вопросы: «вот вы всегда были против войны, значит, вы за большевиков?» За большевиков! Как будто мы их не знали, как будто мы не знали до всякой революции, что большевики — это перманентная война, безысходная война?

* Д. С. Мережковский.

* Мережковский.

Большевистская власть в России — порождение, детище войны. И пока она будет — будет война. Гражданская? Как бы не так! Просто себе война, только двойная еще, и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, т. е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных. Но довольно об этом, довольно! Я слышу выстрелы. Оставляю перо, иду на открытый балкон.

Посередине улицы медленно собираются люди. Дети, женщины... даже знаменитые «инвалиды», что напротив, слезли с подоконников, — и музыку забыли. Глядят вверх. Совершенно безмолвствуют. Как завороженные — и взрослые, и дети. В чистейшем голубом воздухе, между домами, — круглые, точно белые клубочки, плавают дымки. Это «наши» (большевистские) часто стреляют в небо по будто бы налетевшим «вражеским» аэропланам.

На белые ватные комочки «наших» орудий никто не смотрит. Глядят в другую сторону и выше, ища «врагов». Мальчишка жалобно и робко указывает куда-то перстом, все оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видят. По крайней мере я, несмотря на бинокль, ничего не вижу.

Кто — «они»? Белая армия? Союзники — англичане или французы? Зачем это? Прилетают любоваться, как мы вымираем? Да ведь с этой высоты все равно не видно.

Балкон меня не удовлетворяет. Втихомолку, накинув платок, бегу с Катей, — горничной, по черному входу вниз и подхожу к жидкой кучке посреди улицы.

Совсем ничего не вижу в небе (бинокль дома остался), а люди гробово молчат. Я жду. Вот слышу, желтая баба шепчет соседке:

— И чего они — летают-летают... Союзники тоже... Хотя бы бумажку сбросили, когда придут, или что...

Тихо говорила баба, но ближний «инвалид» слышал. Он, впрочем, невинен.

— Чего бумажку, булку бы сбросили, вот это дело!

Баба вдруг разъярилась:

— Булки захотел, толстомордый! Хотя бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо! Разорвало бы окаянных, да и нам уж один конец, легче бы!

Сказав это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю, — струсила. Хотя не видать ничего «такого» около, а все же... С улицы легче всего попасть на Гороховую, а там в списках потереяешься, и каюк. Это и бабам хорошо известно.

Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.

Да зачем эти праздные налеты? Вчера то же было, говорят, в Кронштадте. То же самое.

Зачем это?

Дни — как день один, громадный, только мигающий — ночью. Текущее неподвижное время. Лупорожий А-в в нашего двора, праздный ражий детина из шоферов (не совсем праздный, широко спекулирует, кажется) — купил наше пианино за 7 т. ленинок, самовар новый за тысячу и за 7 т. мой парижский мех — жене.

Приходят, кроме того, всякие спекулянты, тип один, обычный, — тип нашего Гржебина²¹: тот же аферизм, нажива на чужой петле. Гржебин даже любопытный индивидуум. Прирожденный паразит и мародер интеллигентской среды. Вечно он околичивался около всяких литературных предприятий, издательств, — к некоторым даже присасывался, — но в общем удачи не имел. Иногда промахивался: в книгоиздательстве «Шиповник» раз получил гонорар за художника Сомова, и когда это открылось, — слезно умолял не предавать дело огласке. До войны бедствовал, случалось — занимал по 5 рублей; во время войны уже несколько окрылился, завел свой журналичко, самый патриотический и военный — «Отечество».

С первого момента революции он как клещ впился в Горького. Не отставал от него ни на шаг, кто-то видел его на запятках автомобиля вел. княгини Ксении Александровны, когда в нем, в мартовские дни, разъезжал Горький.

(Быть может, автомобиль был не Ксенин, другой вел. княгини, за это не ручаюсь.)

Горькому сметливый Зиновий остался верен. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лестнице, он вышел в чины. Теперь он правая рука — главный фактор Горького. Вхож к нему во всякое время, достает ему по случаю разные «предметы искусства» — ведь Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных «буржуев», умирающих с голоду. (У старика Е., интеллигентного либерала, больного, сам приехал смотреть остатки китайского фарфора. И как торговался!) Квартира Горького имеет вид музея — или лавки старьевщика, пожалуй: ведь горька участь Горького тут, мало он понимает в «предметах искусства», несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любитесь приобретенным... и верно думает бедняжка, что это страшно «культурно!».

В последнее время стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимает. Мне говорил один антиквар-библиотекарь, с невинной досадой: «заплатил Горький за один альбом такой 10 тысяч, а он и пяти не стоит!»

Кроме альбомов и эмалей, Зиновий Гржебин поставляет Горькому и царские сторублевки. И. И. случайно натолкнулся на Гржебина в передней Горького с целым узлом таких сторублевок, завязанных в платок.

Но, присосавшись к Горькому, Зиновий делает попутно и свои главные дела: какие-то громадные, темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой, и даже с какими-то «масленками»; Бог уж их знает, что это за «масленки». Должно быть — вкусные дела, ибо он живет в нашем доме в громадной квартире бывшего домовладельца, покупает сразу пуд телятины (50 тысяч), имеет свою пролетку и лошадь (даже не знаю, сколько, — тысячи 3 в день?)

К писателям Гржебин относится теперь по-меценатски. У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) издательство. Он

скупает всех писателей с именами, — скупает «впрок», — ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета, — и как выгодно приобретена! Буквально, буквально за несколько кусков хлеба!

Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин. А уж кажется, перевидели издателей мы на своем веку.

Стыдно сказать, за сколько он покупал меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся.

Однако, что я — столько о Гржебине. Это сегодня день такой, все разные комиссионеры. Мебельщик развязно предлагал Д. С-чу продать ему « всю его личную библиотеку и рукописи ». У Злобиных он уже купил гостиную — за 12 рублей (тысяч). Армянка-бриллианщица поздно вечером принесла мне 6 тысяч за мою брошку (большой бриллиант). Шестьсот взяла себе. Показывала — в сумочке у нее великолепное бриллиантовое кольцо чье-то — 400 тысяч. Получит за комиссию 40 т. сразу.

Это все крупные аферисты, гады, которыми кишит наша гнилая «социалистическая» завод. Мелочь же порой даже симпатична, — вроде чухонки, бывшей кухарки расстрелянного министра Щегловитова²². Эти все-таки очень рискуют, когда тащат наши вещи на рынок. На рынках вечные облавы, разгоны, стрельба, избиения.

Сегодня избивали на Мальцевском²³. Убили 12-летнюю девочку. (Сами даже, говорят, смутились.)

Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом. Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же. Да и как иначе? Кто бы остался в живых, если б не торговали они — вопреки избиениям?

Надо понять, что мы не знаем даже того, что делается *буквально* в ста шагах от нас (в Таврическом

дворце, например). Тогда будет понятно, что мы не можем составить себе представление о совершающемся в нескольких верстах, не говоря уже о Юге или Европе!

Вот характерная иллюстрация.

На недавней конференции «матросов и красноармейцев» наш петербургский диктатор Зиновьев (Радомысльский)²⁴, пережил весьма неприятную, весьма щекотливую минуту. Казалось бы, собрание надежное, профильтрованное (других не собирают). В «Правде», для осведомления верноподданных, в отчете об этой конференции было напечатано (цитирую дословно), что «т. Зиновьев объявил о прибытии великого писателя Горького, великого противника войны, теперь великого поборника советской власти». И Горький сказал речь: «...воюйте, а то придет Колчак и оторвет вам голову»²⁵. После этого «был покрыт длительными овациями».

Нам посчастливилось узнать правду, помимо «Правды», — от очевидцев, присутствовавших на собрании (имен, конечно, не назову). Надежное собрание возмутилось. «Коммунисты» вдруг точно взбесились: полезли на Зиновьева с криком: «долгой войну! долгой комиссаров!»

Кое-где стали сжиматься кулаки. Зиновьев, окруженный, струсил. Хотел удрать задним ходом, — и не мог. Предусмотрительная личная секретарша Зиновьева, — Костина, бросилась отыскивать Горького. Ездил на зинovieвском автомобиле по всему городу, даже в наш дом заглядывала, — а вдруг Горький, случаем, у И. И.? Где-то отыскала, наконец, привезла — спасти Зиновьева, спасти большевиков.

Горький говорил мало, глухо, отрывисто, — будто лает. Расчет Колчака, «отрыва головы» и совета воевать — очевидцы не говорили, может быть, не дослышали.

Красноречие Горького вряд ли могло иметь решающее значение, но «верная и преданная» часть сборища постаралась использовать выход «великого писателя, поборника» и т. д., как диверсию отвлекающую.

После нее «конференцию» быстро закончили и закрыли.

Вскоре после напечатанного отчета И. И. был у Горького (все из-за брата). В упор спросил его, правда ли, что Горький большевиков спасал? Правда ли, что требовал продолжения войны? Неужели, как выразился И. И., — «Горький и этим теперь *опаскужен*?»

На это Горький пролаял мрачно, что ни слова не говорил о войне. Будто бы в Москву даже ездил, чтобы «протестовать» против напечатанного о нем, да вот «ничего сделать не может».

Какой, подумаешь, несчастный обиженный!

Говорит еще, что в Москве — «вор на воре, негодяй на негодяе»... (а здесь? Кого он спасал?)

Если можно было еще кем-нибудь возмущаться, то Горьким — первым. Но возмущенье и ненависть — перегорели. Да люди и стали выше ненависти. Сожалительное презрение, а иногда брезгливость. Больше ничего.

Оплакав Венгрию²⁶, большевики заскучали. Троцкий, главнокомандующий армией «всей России», требует, однако, чтобы к зиме эта армия уничтожила всех «белых», которые еще занимают часть России. «Тогда мы поговорим с Европой».

Работы много — ведь уже август, даже по старому стилю.

Косит дизентерия.

Т. (моя сестра) лежит третью неделю. Страшная, желтая, худая. Лекарств нет.

Соли нет.

Почти насильно записывают в партию коммунистов. Открыто угрожают: «...а если кто...» Дураки — боятся.

Петерса убрали в Киев. Положение Киева острое. Кажется, его теснят всякие «банды», от них стонут сами большевики. Впрочем — что мы знаем?

Арестованная (по доносу домового комитета, из-за созвучий фамилий) и через 3 недели выпущенная, Ел. (близкий нам человек) рассказывает, между прочим.

Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10—11 в день. Выводят на двор, комендант, с папироской в зубах, считает, — уводят.

При Ел. этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутил: «вот, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! В красной армии служить не хотел».

Недавно расстреляли профессора Б. Никольского²⁷. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались — дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всеобуч» (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!) — «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!»

Зверей Зоологического сада, еще не подошедших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, — это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше.

Объявление это так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара я знаю.)

Вчера доктор Х. утешал И. И., что у них теперь хорошо устроилось, несмотря на недостаток мяса: сердце и печень человеческих трупов пропускают через мясорубку и выделывают пептоны, питательную среду, бульон... для культуры бацилл, например.

Доктор этот крайне изумился, когда И. И. внезапно завопил, что не выносит такого «глума» над человеческим телом, и убежал, «схватив фуражку».

Надо помнить, что сейчас в СПб-ге, при абсолютном отсутствии одних вещей и скудости других, есть нечто в изобилии: трупы. Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевистской статистике (петиюм) — 6,5%, при 1,2% рождений. Не забудем, что это *большевистская*, официальная статистика.

И. И. заболел. И сестра его — дизентерией. «Перспектив» — для нас — никаких, кроме зимы без света и огня. Киев, как будто, еще раз взяли, кто — неизвестно. Не то Деникин, не то поляки, не то «банды». Может быть, и все они вместе.

Очень все интересно. Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая свиновая скука.

Петерс, уезжая в Киев (мы знаем, что Киев взяли потому, что Петерс уж в Москве: удрал, значит), решил возвратить нам телефоны. Причин возвращать их так же мало, как мало было отнимать. Но и за то спасибо.

Все теперь, все без исключения, — носители слухов. Носят их соответственно своей психологии: оптимисты — оптимистические, пессимисты — пессимистические. Так что каждый день есть *всякие* слухи, обыкновенно друг друга уничтожающие. Фактов же нет почти никаких. Газета — наш обрывок газеты, — если факты имеет, то не сообщает, тоже несет слухи, лишь определенно подтасованные. Изредка прорвется кусок паники, вроде «вновь угрожающей Антанты, лезущей на нас с еще окровавленной от Венгрии мордой...» или вроде внезапно появившегося Тамбово-Козловского (?) фронта.

Несомненный факт, что сегодня ночью (с 17 на 18 августа) где-то стреляли из тяжелых орудий. Но Кронштадт ли стрелял, в него ли стреляли — мы не знаем (слухи).

Должно быть, особенно серьезного ничего не происходит, — слышно усиленного ерзанья большевистских автомобилей. Это у нас один из важных признаков: как начинается тарактенье автомобилей, — завозились большевики, забеспокоились, — ну, значит, что-то есть новенькое, пахнет надеждой. Впрочем, мы привыкли, что они из-за всякого пустяка впадают в панику и начинают возиться, дребезжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Все автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева — хороший.

Любопытно видеть, как «следует» по стогам града «начальник Северной Коммуны». Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тетку. Зимой и летом он без шапки. Когда едет в своем автомобиле, — открытом, — то вышасяется на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее — никуда, он трус первой руки. Впрочем, они все трусы. Троцкий держится за семью замками, а когда едет, то охранники его буквально теснят в кольцо, дают кольцо.

Фунт чаю стоит 1200 р. Мы его давно уже не пьем. Сушим ломтики морковки, или свеклы, — что есть. И завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев, да какие-то грязные деревья в Таврическом саду, и Бог их знает, может неподходящие.

В гречневой крупе (достаем иногда на рынке — 300 р. фунт), в каше-размазне — гвозди. Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изю рта мы их продолжаем вынимать. Я только сейчас, вечером, в трех ложках нашла 2, тоже изю рта уже вынула. Верно, для тяжести прибавляют.

Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло, — не могу угадать. Такой хлеб прислали Злобным из Москвы, их знакомые, — с оказией.

Читаю рассказ Лескова «Юдоль». Это о голоде в 1840 году, в средней России. Наше положение очень напоминает положение крепостных в имении Орловской губернии. Так же должны были они умирать *на месте*, лишенные прав, лишенные и права отлучки. Разница: их «Юдоль» длилась всего 10 месяцев. И еще: дворовым крепостным выдавали помешки на день не 1/8 хлеба, а целых 3 фунта! Три фунта хлеба. Даже как-то не верится.

Сыпной тиф, дизентерия —

продолжаются. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце.

Все эти деникинские Саратовы, Тамбовы и Воронежжи, о которых нам говорят то слухи, то, задуманно намекая, большевистские газеты, — оставляют нашу эпидерму бесчувственной. Нам нужны «ощущения», а не «представления».

Но и помимо этого, — когда я пытаюсь рассуждать, — я тоже не делаю радужных выводов. Не вижу я ни успеха «белых генералов» (если они одни), ни целесообразности движения *с юга*. (Вслух насчет неверия моего в «белых генералов» не говорю, это слишком ранит всех.) Большевики твердо и ясно знают, что без Петербурга центральная власть (хотя она и в Москве) не будет свалена. Большевики недаром всей силой, почти суеверно, держатся за Петербург. Они так и говорят, даже в Москве: «пока есть у нас наш красный Петроград, — мы есть и мы непобедимы».

Да, это роковым образом так. Петербург — большевистский талисман. И большевистская голова.

Кроме того, «белые генералы» наши... Впрочем, — молчание, молчание. Если и думаю многие, как я (опытны, ведь, мы все!), то все-таки теперь помолчим.

Продала старые портьеры. И новые. И подкладочный коленикор. 2 тысячи. Полтора дня жизни.

Большевики и сами знают, что будут свалены так или иначе, — но когда? В этом вопрос. Для России, — и для Европы — это вопрос громадной важности. Я подчеркиваю, для Европы. Быть может, для Европы вопрос времени падения большевиков даже *важнее*, чем для России. Как это ясно!

Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя «дурную бесконечность» и развращает данное поколение в корне, — создает из мужика «вечного» армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет, или *пока* не воюет, торгует (и во-

рует, конечно). *Не работает никто.* Воистину «торгово-продажная» республика, — защищаемая одурелыми солдатами — рабами.

Если большевики падут лишь «в конце концов», — то, пожалуй, под свалившимся окажется «пустое место». Поздравим тогда Европу, будет ли тогда кого поздравлять, — в «конце-то концов»?

Матросье кронштадтское ворчит, стонет, — надоело. «Давно бы дали, да некому. Никто нейдет, никто не берет».

Что бы ни было далее — мы не забудем этого «союзникам». Англичанам, — ибо французы без них вряд ли что могут.

Да что — мы? Им не забудет это и жизнь сама.

Вчера видела на улице, как маленькая, 4-летняя девочка колотила ручонками упавшую с разрушенного дома старую вывеску. Вместо дома среди досок, балок и кирпичей — возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывеске были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и — булка! Целая гора булок!

Я наклонилась над девочкой.

— За что же ты бьешь такие славные вещи?

— В руки не дается! В руки не дается! — с плачем повторяла девочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье.

Чрезвычайку обновили. Старых расстреляли, кое-кого. Но воры и шантажисты — все.

Отмечаю (конец августа по новстилю), что, несмотря на отсутствие *фактов*, и даже касающихся севера *слухов*, — общее настроение в городе — повышенное, атмосфера просветленная. Верх и низы одинаково, хотя безотчетно, вдруг стали утверждаться на ощущении, что скоро, к октябрю-ноябрю, все будет кончено.

Может быть, отчасти действуют и слишком настойчивые большевистские уверения, что *«напрасны*

новые угрозы», *«тицетны* решения англичан кончить с Петербургом, теперь же», *«нелепы* надежды Юденича на новое соглашение с Эстляндией» и т. д.

Агонизирующий Петербург, читая эти выкрики, радуется: ага, значит, есть «новые угрозы». Есть «решения англичан»! Есть речь о «соглашении Юденича с Эстляндией»!

Я прямо чувствую нарастание беспочвенных, казалось бы, надежд.

Рядом большевики пишут о своем наступлении на Псков. Возможно, отберут его; но и это вряд ли изменит настроения дня.

Наша Кассандра, — Д. С., — пребывает в тех же мрачных тонах. Я... не говорю ничего. Но констатировать общее состояние атмосферы считаю долгом.

Живем буквально на то, что продаем, изо дня в день. Все дорожает в геометрической прогрессии, иборы гремят систематически. И, кажется, уже не столько принципиально, сколько утилитарно: нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается.

С.* с женой поехал недавно в К., на Волгу²⁸, где у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющие домик «коммунары» уделили хозяевам две каморки наверху. Незавидное было житье.

С. говорит, что на Волге — непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек зараз.

Южные «слухи» упорны относительно Киева: он будет, будто бы, взят Петлюрой — в соединении с поляками и Деникиным.

(Вот что я заметила относительно природы «слуха» вообще. Во всяком слухе есть смешение *данного* с *должным*. Бывают слухи очень *неверные*, — с громадным преобладанием должного над данным; — не верны они, значит, фактически, и тем не менее очень поу-

* Замечательный и очень известный писатель.

чительны. Для умеющего учиться, конечно. Вот и теперь, Киев. Может быть, его *должно было бы* взять соединение Петлюры, поляков и Деникина. А как *данного* — такого соединения и не существует, может быть, если Киев и взят.)

Большевики признались, что Киев окружен с трех сторон. Только сегодня (29 августа) признались, что «противник» (какой? кто?) занял Одессу». (Одесса взята около месяца тому назад.)

Ах, да что эти южные «взятия». И мы — Россия, и большевики — наши завоеватели, в этом пункте единомысленны: занятие южных городов «белыми» несколько не колеблет центральную власть и само по себе не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тот же Киев сто раз еще будет взят обратно.

Хамье отъезжая, глубоко аполитичное и беспринципное (с одним непотрясаемым принципом — частной собственности) спешит «до переворота» реализовать нахваченные пуды грязной бумаги, «ленинок», — скупая все, что может. У нас. В каждом случае учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболее голодных. Помещают свои ленинки, как в банк, в бриллианты, меха, мебель, книги, фарфор, — во что угодно. Это очень рассудительно.

Лупорожего А-ва с нашего двора, ражего детину из шоферов, который для жены купил мой парижский мех, — сцапали. Спекульнул со спиртом на 2 1/2 миллиона. Ловко!

А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ему покровительствует Горький. Но жена Горького²⁹ (вторая, — настоящая его жена³⁰ где-то в Москве), бывшая актриса, теперь комиссарша всех российских театров, уже сколотила себе деньги... это ни для кого не тайна. Очень любопытный тип эта дама-коммунистка. Каботинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя *sur le retour* — она занималась прежде чем угодно, только не политикой. При начале власти большевиков сам Горький держался как-то невнятен, не-

определенно. Помню, как в ноябре 17 года я сама лично кричала Горькому (в последний раз, кажется, видела его тогда): «...а ваша-то собственная совесть что вам говорит? Ваша внутренняя человеческая совесть?», а он, на просьбы хлопотать перед большевиками о сидящих в крепости министрах, только лаял глухо: «я с этими мерзавцами... и говорить... не могу».

Пока для Горького большевики, при случае, были «мерзавцами», — выжидала и Марья Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь, — о, теперь она «коммунистка» душой и телом. В роль комиссарши, — министра всех театрально-художественных дел, — она вошла блестяще; в буквальном смысле «вошла в роль», как прежде входила на сцене, в других пьесах. Иногда художественная мера изменяет ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а как будто императрицы («ей-Богу, настоящая «Мария Федоровна», восклицал кто-то в эстетическом восхищении). У нее два автомобиля, она ежедневно приезжает в свое министерство, в захваченный особняк на Литейном, — «к приему».

Приема ждут часами и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Один раз, когда художник с большим именем, Д-ский³¹, после долгого ожидания удостоился, наконец, впуска в министерский кабинет, он застал комиссаршу очень занятой... с сапожником. Она никак не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблучок. И с чисто королевской милой очаровательностью вскричала, увидев Д-ского: — «Ах, вот и художник! Ну нарисуйте же мне каблучок к моим ботинкам!»

Не знаю уж, воспользовался ли Д-ский «случаем» и попал, или нет, «в милость». Человек «придворной складки», конечно, воспользовался бы.

Теперь, вот в эти дни, у всех почему-то на устах одно слово: «переворот». У людей «того» лагеря, не нашего — тоже. И спешат что-то успеть «до переворота». Спекулянты — реализовать ленин-

ки, причастные к «властям» — как-то «заручиться» (это ходячий термин).

Шешит и Марья Федоровна А-ва. На днях А-ский³², зайдя по делу к Горькому, застал у М. Ф. совсем неожиданный «салон»: человек 15 самой «белогвардейской» породы, — П., К. и т. д. Говорят о перевороте, и комиссарша уже играет на этой сцене совсем другую роль: роль «урожденной Желябужской». Вот и «заручилась» на случай переворота. Как не защитят ее гости — своего поля ягоду, «урожденную Желябужскую»?

Недаром, однако, были слухи, что прямолинейный Петерс, наш «беспошадный», в раже коммунистической «чистки», метил арестовать всю компанию: и комиссаршу, и Горького, и Гржебина, и Тихонова... Да широко махнул. В Киев услали.

Киев, если не взят, то, кажется, будет взят. Понять, вообще, ничего нельзя. Псков большевики тогда же взяли, — торжествовали довольно! Однако Зиновьев опять объявляет — мы, мол, накануне циннического выступления англичан...

Вы так боитесь, товарищ Зиновьев? Не слишком ли большие глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше.

Атмосфера уверенности в перевороте, которую я недавно отметила, ее температура (говорю о чисто кожном ощущении) за последние дни, и как будто тоже без всяких причин — сильно понизилась. Какая это странная вещь!

Разбираясь, откуда она могла взяться, я вот какое предполагаю объяснение: вероятно *был*, опять ставился, вопрос о *вмешательстве*. Реально так или иначе снова *поднимался*. И это передалось через воздух. Только это могло родить такую всеобщую надежду, ибо: все мы здесь, сверху донизу, до последнего мальчишки, *знаем* (и большевики тоже!), что сейчас одно лишь так называемое «вмешательство» может быть толчком, изменяющим наше положение.

Вмешательство! «Вмешательство во внутренние дела России!» Мы хотим до слез, — истерических,

трагических, правда, — когда читаем эту фразу в большевистских газетах. И большевики хохочут — над Европой, — когда пишут эти слова. Знают, каких она слов боится. Они и не скрывают, что рассчитывают на старость, глухоту, слепоту Европы, на страх ее перед традиционными словами.

В самом деле, каким «вмешательством» в какие «внутренние дела» какой «России» была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что «никто их не берет», сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. (У них автомобили всегда наготове.) Но, конечно, все это лишь в том случае, если бы несомненно было, что стреляют «англичане», «союзники». (Так знают все, что самый легкий толчок «оттуда» — дело решающее.)

О, эта пресловутая «интервенция»! Хотя бы раньше, чем произносить это слово, европейцы полюбопытствовали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит, приблизительно, то, что было после битвы при Калке: татары положили на русских доски, сели на доски — и пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще, — надок (и легко) столкнут татар с досок. И отнюдь, отнюдь не из «сострадания» — а в собственных интересах, самых насущных! Ибо эти новые татары такого сорта, что чем больше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски.

Но видно, и соседей наших, и Антанту Бог наказал, — разум отнял. Даже простой здравый смысл. До сих пор они называют этот необходимый, и такой нетрудный, внешний толчок, жест самосохранения — «вмешательством во внутренние дела России».

Когда рассеется это марево? Не слишком ли поздно?

Вот мое соображение, сегодняшнее (26 августа), некий мой прогноз: если в течение ближайших недель не произойдет резко положительных фактов, указующих на вмешательство, — дело можно

считать конченным. Т. е. это будет уже *факт невмешательства*.

Как вылетит большевистская зима? Трудно вообразить себе наше внутреннее положение — оставим эту сторону. С внешней же думаю: к январю или раньше возможно соглашение большевиков с соседями («торговые отношения»). С Финляндией, о Швеции и, может быть (да, да!), с самой Антантой (снятие блокады). Я ничего не знаю, но вероятия большие...

Учсть последствия этого невозможно, однако, в общих чертах они для нас, отсюда, очень ясны. Первый результат — усиление и укрепление красной армии. Ведь все, что получают большевики из Европы (причем глупой Европе они не дадут ничего — у них нет ничего) — все это пойдет комиссарам и красной армии. Ни одна кроха не достанется населению (да на что большевикам население?). Пожалуй, красноармейцы будут спекулировать на излишках, — только.

Слабое место большевиков — возможность голодных бунтов в армии. Это будет устранено...

Пусть совершается несчастье: мне не жаль Англии; что же, если она сама будет вооружать и кормить противника.

Европа получит по делам своим.

Ленин живет в Кремле, в «Кавалерском Доме» (бывшем при службе) в двух комнатках; рядом, в таких же — Бонч*³³. Между ними проломили дверь, т. е. просто дыру, какая еще там дверь! И кто утомляется деловой аудиенции у Бонча — видит и Ленина. Только кто рассказывал такой удостоившийся, после долгих церемоний: сидит Ленин с компрессом на горле, кислый; оттого ли что горло болит, или от дел неприятных — неизвестно.

Главный Совдеп московский — в генерал-губернаторском доме, но приемная — в швейцарской. Там стоит на голом столе бутылка, в бутылке — свечка.

* Бонч-Бруевич, старый партийный большевик, друг Ленина. Занимался когда-то исследованием сектантства.

В Москве зимой не будет «ни одного полена даже для Ленина», уверял нас один здешний «приспособившийся» (не большевик), заведующий у них топливом.

Кстати, он же рассказывал, что, живя вблизи Петропавловской крепости, слышит по ночам бесконечные расстрелы.

— Мне кажется иногда, что я схожу с ума. И думаю: нет, уж лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас...

Электричество — 4 часа в сутки, от 8—12 (т. е. от 5—9 час. вечера). Ночи темные-темные.

Вчера (14 сент. ст.) была нежная осенняя погода. В саду пахло землей и тихой прудовой водой. Сегодня — дождь.

Ожидаются новые обыски. Вещные, для армии. Обещают брать все, до занавесей и мебели обивки включительно.

Сегодня (30 авг. нов. стиля) — теплый, влажный день. С утра часов до 2—3 — далекая канонада. Опять, верно, вялые английские шалости. *Sopni et vit!**. В московской газете довольно паническая статья «Теперь или никогда!», опять об «окровавленной морде» Антанты, собирающейся, будто бы, лезть в Петербург. Новых фактов никаких. Букет старых.

Здесьняя наша «Правда» — прорвалась правдой (это случается). Делаю вырезку с пометкой числа и года (30 августа 19 г. СПб)³⁴ и кладу в дневник. Пусть лежит на память.

Вот эта вырезка дословно, с орфографией:

Рабочая масса к большевизму относится несочувственно и когда приезжает оратор или созывается общее собрание, т. т. рабочие прячутся по углам и всячески отдываются. Такое отношение очень прискорбно. Пора одуматься.
Черехович.

* * *
ОТДЕЛ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА.
Настроение «пахнет белогвардейским духом». Из 150 служащих всего 7 человек в коллективе (2 коммуниста,

* Знакомо и видно (франц.).

3 кандидата и 2 сочувствующих). Все старания привлечь публику и нашу партию безрезультатны. 14-я Государств. типография. Петроград.

Весьма характерный «прорыв». Станется за него завтра кому следует. Бедный «Черехович» неизвестный! Угораздило на такие откровенности пуститься!

Положим, это все знают, но писать об этом в большевистской газете — непорядок. Ведь это же правда, — а не «Правда».

Опять где-то стреляют целыми днями. Должно быть сами же большевики куда-нибудь палят зря, с испугу. В газете статья «*Совершим Чудо!*» т. е. «дадим отпор Антанте».

Прибыл «сам» Троцкий. Много бытовых подробностей о грабежах, грязи и воровстве — но нет сил записывать.

В общем, несмотря на периодическую глухую орудийную стрельбу, — все то же, и вид города все тот же: по улицам, заросшим травой, в ямах, идут испитые люди с котомками и саквояжами, а иногда, клубясь воюющим синим дымом, протарахтит большевистский автомобиль.

Нет, видно ясны большевистские небеса. Мария Федоровна (каботинка, «жена» Горького) — не только перестала «заручаться», но даже внезапно сделалась уже не одним министром «всех театров», а также и министром «торговли и промышленности». Объявила сегодня об этом запросто И. И-чу. Положим, не хлопотно: «промышленности» никакой нет, а торгуют всем, чем ни попадя, и министру надо лишь этих всех «разгонять» (или хоть «делать вид»).

Будто бы арестовали в виде заложников Станиславского и Немировича*. Мало вероятно, хотя Лилина³⁵ (жена Станиславского) и Качалов³⁶ — играют в Харькове и, говорят, очень радостно встретили Деникина. Были слухи, что Станис-

лавский бывает в Кремле, как придворный увеселитель нового самодержца — Ленина, однако и этому я не очень верю. Мы так мало знаем о Москве.

Из Москвы приехал наш «единственный» — Х. Очень забавно рассказывал обо всем (Станиславского выпустили.) Но вот прелесть — это наш интернациональный хлыщ — Луначарский. Живет он в сиянии славы и роскоши, эдаким неразвенчанным Хлестаковым. Занимает, благодаря физическому устранению конкурентов, место единственного и первого «писателя земли русской». Недаром «Фауста» написал³⁷. Гете написал немецкого, старого, а Луначарский — русского, нового, и уж, конечно, лучшего, ибо «рабочего».

Официальное положение Луначарского позволяет ему циркулярами призывать к себе уцелевших критиков, которым он жадно и долго читает свои поэмы. Притом безбоязненно: знает, что они, бедняги, словечка против не скажут — только и могут, что хвалить. Не очень-то накрикуешь, явившись на литературное чтение по приказу начальства! Будь газеты, Луначарский, верно, заказывал бы и статьи о себе.

До этого не доходили и писатели самые высокопоставленные, вроде великого князя К. Р. (Константина Романова)³⁸, уважая все-таки закон внутренний — литературной свободы. Но для Луначарского нет и этих законов. Да и в самом деле: он устал быть «вне» литературы. Большевистские штыки позволяют ему если не *быть*, то *казаться* в самом сердце русской литературы. И он упустит такой случай?

Устроил себе, в звании литературного (всероссийского) комиссара, и «Дворец Искусств»³⁹. Новую свою «цыпочку», красивую Р.⁴⁰, поставил... комиссаром над всеми цирками. Придумал это потому, что она вообще малограмотна, а любит только лошадей. (Старые жены министров большевистских чаще всего — отставлены. Даны им раз-

* Директора известного Художественного театра в Москве.

ные места, чтоб заняты были, а министры берут себе «цыпочек», которым уже даются места поближе и поважнее.)

У Луначарского, в бытность его в Петербурге, уже была местная «цыпочка», какая-то актриска из кафе-шантана. И вдруг (рассказывает Х.) является теперь, в Москву — с ребеночком. Но министр искусств не потерялся, тотчас откупился, ассигновал ей из народных сумм полтора миллиона (по царски, знай наших!) — «на детский театр».

Сегодня, 2 сентября нов. ст., во вторник, записываю *прогноз* Дмитрия*, его «пророчества», притом с его согласия, — так он в них уверен.

Никакого наступления ни со стороны англичан, ни с других сторон, Финляндии, Эстляндии и т. п. — *не будет*

ни в ближайшие, ни в дальнейшие дни. Где-нибудь, кто-нибудь, возможно, еще постреляет — но и только.

Определенного примирения с большевиками у Европы тоже *не будет*. Все останется приблизительно в таком же положении, как сейчас. Выдержит ли Европа строгую блокаду — неизвестно; будет, однако, пытаться.

Деникин обязательно провалится.

Затем Дмитрий дальше пророчествует, уже о будущем годе, после этой зимы, в продолжение которой большевики сильно укрепятся... но я пока этого не записываю, лучше потом.

Дмитрий почему-то объявил, что «вот этот вторник был решающим». (Уж не Троцкий ли заиглотизировал его своими «красными башкирами»?)

Эти «пророчества» — в сущности то, что мы все знаем, но не хотим знать, не должны и не можем говорить *даже себе*... если не хотим сейчас же умереть. Физически нельзя продолжать эту жизнь без постоянной надежды. В нас горит праведный инстинкт жизни, когда мы стараемся не терять надежду.

* Д. С. Мережковского.

На Деникина, впрочем, никто почти не надеется, несмотря на его, казалось бы, колоссальные успехи, на все эти Харьковы, Орлы, на Мамонтова и т. д. *Слишком* мы здесь зрячи, слишком все знаем *изнутри*, чтобы не видеть, что ни к чему, кроме ухудшения нашего положения не поведут наши «белые генералы», старые русские «остатки», — если они не будут *честно* и *определенно* поддержаны Европой. А что у Европы нет этой прямой честности — мы видим.

Опять пачками аресты. Опять те же, — Изгоев⁴¹, Вера Гл.⁴² и пр., самые бессмысленные. Плюс еще всякие англичане. Пальбы нет.

Арестовали двух детей, 7 и 8 лет. Мать отправили на работы, отца неизвестно куда, а их, детей, в Гатчинский арестный приют. Это такая детская тюрьма, со всеми тюремными престелами, «советские дети *не для иностранцев*» как мы говорим. Да, уж в этот приют «европейскую делегацию» не пустят (как, впрочем, и ни в какой другой приют: для этого есть один или два «образцовых», т. е. чисто декорационных).

Тетка арестованных детей (ее еще не арестовали) всюду ездит, хлопочет об освобождении, — напрасно. Была и в Гатчине, видала их там. Плачет: голодают, говорит, оборванные, во вшах.

Любопытная это, вообще, штука — «красные дети». Большевики вовсю решили их для себя «использовать». Ни на что не налепили столь пышной вывески, как на несчастных совдепских детей. Нет таких громких слов, каких не произносили бы большевики тут, выхваляя себя. Мы-то знаем им цену и только тихо удивляемся, что есть в «Европах» дураки, которые им верят.

Бесплатное питание! Это матери, едва стоящие на ногах, должны водить детей в «общественные столовые», где дают ребенку тарелку воды, часто недокипяченной, с одиноко плавающим листом чего-то. Это посылаемые в школы «жмыхи», из-за которых дети дерутся, как звереныши.

Всеобщее бесплатное обучение! Приюты! Школы! — Много бы могла я тут рассказать, ибо имею *ежедневную, самую детальную, информацию изнутри*. Но я ограничусь выводом: это целое поколение русское, погибшее духовно и телесно. Счастье для тех, кто не выживает...

Кстати, недавно Горький «лялял» в интимном кругу, что «это черт знает, что в школах делается»... И действительно, средняя школа, преобразованная в одну «нормальную» советскую школу, т. е. заведение для обоих полов, сделалась странным заведением... Женские гимназии, институты соединили с кадетскими корпусами, туда же добавили 14—15-летних мальцов прямо с улицы, всего повидавших... В гимназиях, по словам Горького тоже, есть уже беременные девочки 4-го класса... В «этом» красным детям дается полная «свобода». Но в остальном требуется самое строгое «коммунистическое» воспитание. Уже с девяти лет мальчика выпускают говорить на митинге, учат «агитации» и защите «советской власти». (Очевидно, более способных готовят и к действию в Чрезвычайке. Берут на обыски — это «практические занятия».)

Но довольно! довольно! Об этом будет время вспомнить...

Как это англичане терпят? Даже на них не похоже. Они как будто потеряли всякое понятие национальной гордости. Вот: большевики забрали английское посольство, вещи присвоили, сидит там Горький в виде оценщика-старьевщика, записывает «приобретенное».

И все-таки англичанам верят! Сегодня упорные слухи, что англичане взяли Толбухинский маяк и тралят мины.

Как бы не так.

Киев взят почти наверно, — по большевистским же газетам. Но какое это имеет значение?

Третий обыск, с Божией помощью! Я уже писала, что если не гаснет вечером электричество — значит, обыски в этом районе. В

первую ночь, на 5 сентября, была, очевидно, проба. На 6-е, вечером, у нас сидел И. И., около 12 часов — шум со двора. Пришли И. И. скорей убежал туда.

Всю ночь ходили по квартирам, всю ночь с ними И. И. (Поразительно, в эту ночь *почти все* дома громадного района были обысканы. В одну ночь! По всей нашей улице, бесконечно длинной, — часовой.)

Я сидела до 4 часов ночи. Потом так устала — что легла, черт с ними, встану. На минуту устала — явились.

Войдя в свою рабочую комнату, увидела субъекта, пыхающего махоркой и роющего в ящиках с моими рукописями. Засунуть пакеты назад не может. Рвет.

— Давайте я вам помогу, — говорю я. — И лучше сама вам все покажу. А то вы у меня все спугаете.

Махнул рукой:

— Тут все бумаги...

С ними, на этот раз, «барышня» в белой шляпке, негритянского типа. Она как-то стеснялась. И когда Дмитрий сказал: «открыть вам этот ящик? Видите, это мои черновики...», барышня-сыщица потянула сыщика — рабочего за рукав: «не надо...»

— Да вы чего ищете? — спрашиваю.

Новый жандарм заученным тоном ответил:

— Денег. Антисоветской литературы. Оружия.

Вещей они пока не забирали. Говорят, теперь будет другая серия.

Странное чувство *стыда*, такое жгучее, — не за себя, а за этих несчастных новых сыщиков с махоркой, с исканием «денег», беспомощных в своей подлости и презрительно жалких.

А рядом всякие бурные романтические истории (у сытых). Т. изгнал свою жену⁴³ из «Всемирной литературы» (а также из своей квартиры). Она перекочевала к Горькому, который усыпал ее бриллиантами (? за что купил, за то и продаю, за точность не ручаюсь). И теперь лизуны, вроде

Х., У., Z. не знают, чью пятаку лизать: Т-ва, отставной жены или Марии Федоровны.

Аресты и обыски.

Сегодня 8 сентября. Положение то же, что было и неделю тому назад, — если не хуже: слухи о «мирных переговорах» с Эстляндией и Финляндией. (Что это еще за новое, неслыханное, умопомешательство? Как будто большевики могут с кем-нибудь «договориться» и договор *исполнять*?)

С 10 сентября я считаю дело конченным — в смысле большевистской зимы. Она делается фактом. Непредставима она до такой степени, что самые трезвые люди все-таки еще цепляются за какие-то надежды... Но зима эта — факт.

Всеобщая погоня за дровами, пайками, прошениями о невселении в квартиры, извороты с фунтом керосина и т. д. Блок, говорят (лично я с ним не общаюсь), даже болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев⁴⁴. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых «12». Ведь это же, по его поэме, 12 апостолов, и впереди них в «венке из роз идет Христос!» —

Х.⁴⁵ вывернулся. Получил вагон дров и устраивает с Горьким «Дом искусств»⁴⁶.

Вот два писателя (первоклассные, из непримиримых) в приемной комиссариата Нар. просвещения. Комиссар К.⁴⁷ — любезен. Обещает: «мы вам дадим дрова; кладбищенские; мы березы с могил вырубам — хорошие березы». (А возможно, что и кресты, кстати, вырубят. Дерево даже суше, а на что же кресты?)

К И. И. тоже «вселяют». Ему надо защитить свой кабинет. Бросился он в новую «комиссию по вселению». Рассказывает: — Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде... «Мы — шестерка!», а всех 12 сидит. Самого Кокко (начальник по вселению, националь-

ность таинственна) — нету. «Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слышали. Книги пишете? А в «Правде» не пишете? Верно, с буржуями возитесь. Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой такой рентген, какой такой ученый!»

Бедный И. И. кубарем оттуда выкатился. Ждет теперь «товарищей» — исследователей.

Пусть убивают нас, губят Россию (и себя, в конечном счете) невежественные, непонимающие европейцы, вроде англичан. Но как могут распоряжаться нами откоррелированные русские эмигранты, разные «представители» пустых мест, несуществующие «делегации» и т. д. Когда к нам глухо доносится голоса зарубежных, когда здешние наши палачи злорадно подхватывают эмигрантские свары и заявления — с одной стороны, всяких большевистствующих тупиц о невместительстве, с другой — безумные «непризнания независимости Финляндии» (!!) каких-то русских парижских «послов»⁴⁸, мы здесь скрежещем зубами, сжимаем кулаки. О, если б не тряпка во рту, как мы крикнули бы им всем: «Что вы делаете? Кто вам дал право распоряжаться нами и Россией? России нет сейчас, а поскольку есть она — мы Россия, мы, а не вы! Как вы смеете от ее лица что-то «признавать», чего-то «не признавать», распоряжаться нами?»

Впрочем, все они были бы только смешны и глупы, если бы глупость не смешивалась с кровью. Кровавая глупость! Ладно, в свое время за нее ответят.

Отдельные русские голоса за рубежом, трезвые, — слабы и не имеют значения. Трезвы только *недавно* бежавшие. Они еще чувствуют Россию, реальное ее положение. А для тех — точно ничего не случилось! Не понимают, между прочим, что и все их *партии* — уже фикция, туман прошлого, что ничего этого уже нет *безвозвратно*.

А здесь... Эстляндия 15-го начинает «мирные переговоры», сегодня Чичерин предлагает их всем окраинам⁴⁹, с Финляндией во главе, ко-

нечно. Англия и «шалости» прекратила.

Не ясно ли, что после этого...

Сегодня понедельник 15 (2) сентября. Жду, что в вечерней ихней тряпке будет очередной клик об очередных победах и «устрашенной» Финляндии, склоняющейся к самоубийству (мирным переговорам). Весь «мир» с большевиками — это согласие на самоубийство или на разложение заживо.

24 (11 сентября). Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве (профессора, общественные деятели, женщины)⁵⁰. Сегодня о 29 — здесь. О мирных переговорах с Эстляндией, прерванных, но готовящихся, будто бы, возобновиться, — ничего не знаем, не понимаем, не можем и нельзя ничего себе представить. Деникин взял, после Киева, Курск. Троцкий гремит о победах. Ощущение тьмы и ямы. Тихого умопомешательства.

Масло подбирается уже к 1000 руб. за фунт. Остальное соответственно. У нас нет более ничего. Да и нигде ничего. И. И. уже «продался» тоже Гржебину — писать брошюры. Недавно такая была картина: у меня сидела торговка, скупающая за гроши нашу одежду. И. И. прислал сверху, с сестрой, свои туфли старые, галстуки, еще что-то, чуть не пиджак последний. А в это же время к нему, И. И., приехал Горький (пользоваться рентгеном И. И.). Вызвал кстати фактора своего, Гржебина (он в нашем доме живет)⁵¹. Тот прибежал. Принес каких-то китайских божков и акварельный альбом, — достал по поручению. Горький купил это за 10 тысяч. Эта сделка наверху, в квартире И. И., была удачнее нижней: вещи И. И., которые он послал продавать, — погибли у торговки вместе с моими. Торговка ведь берет без денег. А когда через несколько дней И. И. послал сестру к ней за деньгами — там оказалась засада, торговки нет, вещей нет, чуть и сестру не арестовали.

Опять выключили телефоны. Через 2 дня пробую — снова звонят.

Постановили закрыть все заводы. Аптеки пусты. Ни одного лекарства.

(Какой шум у меня в голове! Странное состояние. Физическое или нравственное — не могу понять. Петр Верховенский у Достоевского — как верно о «равенстве и братстве». Механика. И смерть. Да, именно — механика смерти.)

Говорят (в ихней газете), что умер Леонид Андреев⁵², у себя, в Финляндии. Он не испытал нашего. Но он понимал правду. За это ему вечно уважение.

Х.⁵³ и Горький остались. Процветают.

В литературную столовку пришла барышня. Спрашивает у заведующей: не здесь ли Дейч?⁵⁴ (старик, толстовец). Та говорит: его еще нету. Барышня просит указать его, когда придет: мне, мол, его очень нужно. И ждет. Когда старец приплелся (он едва ходит) — заведующая указывает: вот он. Барышня к нему — ордер: вы арестованы! Все растерялись. Старик просит, чтобы ему хоть поебать дали. Барышня любезно соглашается...

Изгоев и Потресов⁵⁵ сидят на Шпалерной, в одной камере.

Из объявлений в газете, за что расстреляны:

«...Чеховский, б. дворянин, поляк, был против коммунистов, угрожал последним отплатить, когда придут белые...» № его 28.

Холодно, сыро. У нас пока ни полена, только утром в кухню.

Правительство. «Сев. Западное» — Маргулиеса⁵⁶ и других — полная загадка. Большевики издеваются, ликуют.

Большевистские деньги почти не ходят вне городской черты. Скоро и здесь превратятся в грязную бумагу. Чистая

Небывалый абсурд происходящего. Такой, что никакая человечность с ним не справляется. Никакое воображение.

11 окт. (28 сен.) — После нашей недавней личной неудачи (объясню

как-нибудь потом*, писать психологически невозможно: да и просто нечего. Исчезло ощущение связи событий среди этой трагической неслепости. Большевицкие деньги падают с головокружительной быстротой, их отвергают даже в пригородах. Здесь — черный хлеб с соломой уже 180—200 р. фунт. Молоко давно 50 р. кружка (по случаю). Или больше? Не уловишь, цены растут *буквально* всякий час. Да и нет ничего.

Когда «их» в Москве взорвало⁵⁷ (очень ловкий был взрыв, хотя по последствиям незначительный, — убило всего несколько не главных большевиков, да оглушило Стеклова)⁵⁸, мы думали, начнется кубический террор; но они как-то струсили и сверх своих обычных расстрелов не забуйствовали. Мы так давно живем среди потока слов (официальных) — «раздавить», «залить кровью», «заколотить в могилу» и т. д. и т. п., что каждодневное печатное повторение непечатной ругани этой — уже не действует, кажется старческим шамканьем. Теперь все заклинания «додавить» и «разгромить» направлены на Деникина, ибо он после Курска взял Воронеж (и Орел — по слухам).

Абсурдно-преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается. На свою же голову, конечно, да нам от этого не легче.

Понять по-прежнему ничего нельзя.

Уже будто бы целых три самостоятельных пуговицы, Литва, Латвия и Эстония, объявили согласие «мирно переговариваться» с большевиками⁵⁹. Хотят, однако, не нормального мира, а какого-то полубрестского, с «нейтральными зонами» (опять абсурд). Тут же путается германский Гольц, и тут же кучка каких-то «белых» (?) ведет безнадежную борьбу у Луги!

Кощмар.

Все меньше у них автомобилей. Иногда дни проходят — не прогредит ни один.

* Мы пытались организовать побег на Режицу — Ригу. Это не вышло, как не удавались десятки еще других планов побега.

Закрыли заводы, выкинули 10 тысяч рабочих. Льготы — месяц. Рабочие покорились, как всегда. Они не думают вперед (я приметила эту черту некультурных «масс»), льготный месяц на то и дается, уедут по деревням. («Чего — там, что еще будет через месяц, а пока — езжай до дому!»)

Здесь большевики организовали принудительную запись — в свою партию (не всегда закрывают принудительность даже легким флером). Снарядили, как они выражаются «пару тысяч коммунистов на южный фронт», чтобы «через какую-нибудь пару недель» догронить Деникина⁶⁰. (Это не я сблизжаю эти «пары», это так точно пишут наши «советские» журналисты.)

15 (2) октября. — Ну вот, и в четвертый раз высекли! — говорит Дмитрий в 5 часов утра, после вчерашнего, нового, обыска.

Я с убеждением возражаю, что это неверно; это опять гоголевская унтерофицерская вдова «сама себя высекала».

Очень хороша была плотная баба в белой кофте с *засученными рукавами*, и с басом (несомненная прачка), рывшаяся в письменном столе Дмитрия. Она вынимала из конвертов какие-то письма, какие-то заметки.

— А мне жилательно нету тилиграмму прочесть...

Стала приглядываться и бормоча разбирать старую телеграмму — из кинематографа, кажется.

Другая баба, понежнее, спрашивала у меня «стремянку».

— Что это? Какую?

— Ну лестницу, что ли... На печку посмотреть.

Я тихо ее убедила, что на печку такой вышины очень трудно влезть, что никакой у нас «стремянки» нет, и никто туда никогда и не лазил. Послушалась.

У меня в кабинете так стояли, даже столов не открыли. Со мной поздоровался спитой малый и «ручку поцеловал». Глядь — это Гессерих, один из «коренных мерзавцев нашего дома», или, по-советски, «кормернадов». В прошлый обыск он еще скакал по лестницам, скры-

ваясь, как дезертир и т. д., а нынче уже руководит обыском, как член Чрезвычайки. Их, кормернадов, несколько: глава, конечно, Гржебин. Остальные простецкие (двое сидят). Гессерих одно время и жил у Гржебина.

Потолкались — ушли. Опять придут.

Сегодня грозные меры: выключаются *все* телефоны, закрываются *все* театры, *все* лавчонки (если уцелели), не выходит после 8 ч. вечера, и т. д. Дело в том, что вот уже 4 дня идет наступление белых с Ямбурга. Не хочу, не могу и не буду записывать всех слухов об этом, а ровно ничего кроме слухов, самых обрывочных, у нас нет. Вот, впрочем, один, наиболее скромный и постоянный слух: какие «белые» и какой у них план — неизвестно, но они хотели закрепиться в Луге и Гатчине к 20-му и ждать (чего? тоже неизвестно!). Однако красноармейцы так побежали, что белые растерялись, идут, идут, и не могут их догнать. Взяв Лугу и Гатчину — взяли *будто бы* уже и Ораниенбаум и взорвали мост на Ижоре. Насчет Ораниенбаума слух нетвердый. Псков *будто бы* взял фон дер-Гольц⁶¹ (это совсем нетвердо).

На юге Деникин взял Орел (признано большевиками) и Мценск (не признано).

Мы глядим с тупым удивлением на то, что происходит. Что из этого выйдет? Ощущением, всей о-

золившейся душой, мы склоняемся к тому, что *ничего не выйдет*. Одно разве только: в буквальном смысле будем издыхать от голода, да еще всех нас пошлют копать рвы и строить баррикады.

Красноармейцы действительно подрали от Ямбурга, как зайцы, роя по пути картошку и пожирая ее сырую. Тут не слухи. Тут свидетельство самих действующих лиц. От кого дерут — сказать не могут, — не знают. Прослышали о каких-то «таньках», лучше до греха домой.

Завтра приезжает «сам» Троцкий. Вдыхать доблест в бегущих.

Состояние большевиков — неизвестно. *Будто бы* не в последней панике, считая это «налетом банд», а что «сил нет».

Самое ужасное, что они, вероятно, правы, что сил и нет, если не подтыкано хоть завалащими регулярными нерусскими войсками, хоть фон дер-Гольцем. Большевики уповают на своих «красных башкир», в расчете, что им — все равно, лишь бы их откармливали и все позволяли. Их и откармливают, и расчет опять верный.

Газеты — обычны, т. е. понять ничего нельзя абсолютно, а слова те же, — «додушить», «раздавить» и т. д.

(Черная книжечка моя кончилась, но осталась еще корка, — в конце и в начале. Буду продолжать как можно мельче на корке).

Продолжение следует

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Впервые фрагмент опубликован в качестве эпиграфа к стихотворению З. Гиппиус «Летом». — Гиппиус З. Н. Стихи. Дневник 1911—1921. — Берлин, 1922, с. 116. Под заголовком «В июне» миниатюра помещена в томе: Гиппиус З. Стихотворения и поэмы. Т. П. Мюнхен, 1972, с. 54.

2. Цитата из поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918).

3. Район Сергиевской улицы (ныне ул. Чайковского) — от набережной Фонтанки до ул. Потемкинской — издавна был одним из аристократических районов Петербурга. На Сергиевской располагалось здание Главного дворцового управления (д. 2), особняки кн. В. М. Волконского (д. 7), кн. Г. А. Щербатова (д. 11), гр. А. Г. Толстой (д. 15), кн. Е. М. Куракиной (д. 8), кн. С. П. Оболенского-Нелединского-Мелец-

кого (д. 20), гр. С. В. Паниной (д. 23), гр. А. А. Орлова-Давыдова (д. 27), Нарышкиных (д. 29), гр. М. Э. Клейнмихель (д. 33—37), гр. М. Д. Апраксиной (д. 39), кн. А. А. Оболенской (д. 45), кн. Е. П. Демидова-Сан-Донато (д. 57), кн. С. С. Абамелек-Лазарева (д. 77), дворец Великой княгини Ольги Александровны и Его Выс. Принца Петра Александровича Ольденбургского (д. 46).

4. И. И. Манухин был членом домашнего комитета.

5. Смольный собор.
6. На углу Гороховой (ныне ул. Дзержинского) и Адмиралтейского проспекта в доме № 2 находилась «чрезвычайка».

7. ЗЛОБИН Владимир Ананьевич (1894—1967) — студент юридического факультета. С 1916 г. личный секретарь

З. Н. Гиппиус, вплоть до ее смерти. Поэт. З. Н. Гиппиус он посвящая книги: стихотворный сборник «После ее смерти» (Париж: Рифма, 1951), а также книгу «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970).

8. **КОНИ Анатолий Федорович** (1844—1927) — юрист, доктор права, общественный деятель и литератор, почетный академик. После Октябрьской революции продолжал литературную работу, был профессором уголовного судопроизводства в Петроградском университете, выступал с лекциями в научных, общественных и культурно-просветительных учреждениях.

9. Книги «Почему я стал коммунистом» у Брюсова не было. Вероятно, речь идет о его устном рассказе «Почему я стал большевиком», распространенном в разных интерпретациях.

10. В 1917—1919 гг. Брюсов возглавлял Комитет по регистрации печати (с янв. 1918 г. — Моск. отд. Рос. книжной палаты); В 1918—1919 гг. заведовал Моск. библиотечным отд. при Наркомпросе, с янв. 1919-го по февр. 1921-го председатель президиума Всерос. союза поэтов. С июля 1920 г. Брюсов — член коммунистической партии.

11. Имеется в виду связь Блока с левозерской газетой «Знамя труда».

12. Цитата из стихотворения З. Гиппиус, посвященного Белому и Блоку, — «Шел...», опубликованного в газете «Новые ведомости» (28 мая — 10 июня 1918 г.).

13. **СОЛОГУБ** (наст. фамилия — *Тетричков*) **Федор Кузьмич** (1863—1927) — писатель.

14. **ВЕНГРОВ Натан** (наст. имя — *Моисей Павлович*, 1894—1962) — писатель, начал печататься в 1913 г. Выпустил несколько детских сборников, член компартии с 1920 г.

15. **ПЕТЕРС Екабс**, он же **Яков Христофорович** (1886—1938) — после революции член коллегии и зам. председателя ВЧК, председатель ревтрибунала.

16. Летом-осенью 1913 г. Манухин жил в Италии, на Капри познакомился с М. Горьким, лечил его от туберкулеза методом облучения селезенки рентгеновскими лучами. — См.: Манухин И. И. «С. Боткин, И. Мечников, М. Горький». — Новый журнал, 1967, № 86, с. 157.

17. Т. е. армия дезертиров.

18. «Всемирная литература» — издательство, организованное при Наркомпросе по инициативе М. Горького в 1918 г. в Петрограде. В работе издательства принимали участие писатели, ученые, переводчики, критики: С. Ф. Ольденбург, И. Ю. Крачковский, А. А. Блок, К. И. Чуковский, Е. И. Замятин, М. Л. Лозинский и др. Было подготовлено около 200 выпусков издания.

19. **ТИХОНОВ Александр Николаевич** (1880—1956) — писатель (псевд. *Серебров*), заведовал издательством «Всемирная литература», был редактором газеты «Новая жизнь» (1917—1918) и др. изданий.

20. Доклад З. Н. Гиппиус об отношении к войне — «История в христианстве» — был прочитан Д. В. Философовым на заседании Петроградского

РФО 5 ноября 1914 года. Прения по докладу продолжались на заседании РФО 26 ноября.

21. **ГРЖЕБИН Зиновий Исаевич** (1869—1929) — издатель; в 1921—1923 гг. издавал в Берлине русские книги, затем переехал в Париж.

22. **ЩЕГЛОВИТОВ Иван Григорьевич** (1861—1918) — министр юстиции (1906—1915), председатель Государственного совета (1917). В первые дни Февральской революции заключен в Петропавловскую крепость; расстрелян по приговору ревтрибунала.

23. Т. е. на Мальцевском (ныне Некрасовском) рынке.

24. **ЗИНОВЬЕВ (Радомысльский) Григорий Евсеевич** (1883—1936) — с дек. 1917 г. председатель Петроградского Совета, председ. Совнаркома союза комму. Сев. области (1918—1919).

Конференция красноармейцев и матросов петроградского гарнизона открылась 30 июля по созыву военной секции Петроградского Совета.

25. См.: «Прибытие М. Горького» и «Речь М. Горького». — Правда, 1919, 3 авг., № 178, с. 3.

26. Венгерская советская республика просуществовала с 21 марта по 1 августа 1919 г., правительство под давлением правых социалистов подало в отставку. Советская власть была подавлена военными силами Антанты и внутр. контрреволюционными силами.

27. **НИКОЛЬСКИЙ Борис Владимирович** (1870—1919) — юрист, критик, профессор Петербургского университета.

28. Имеются в виду писатель Федор Сологуб и его жена Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876—1921) — писательница, переводчица. С 1915 года чета Сологубов арендовала усадьбу Набатовых — Княжино под Костромой, где жила также летом 1918 и 1919 гг.

29. **АНДРЕЕВА** (по первому мужу *Желябужская*) **Мария Федоровна** (1872—1953) — вторая жена М. Горького, драматическая актриса и общественная деятельница; с 1904 г. член КП; в 1918 г. — комиссар театров и зрелищ Петрограда.

30. **ПЕШКОВА Екатерина Павловна** (1878—1965) — первая жена Горького.

31. **ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав Валерианович** (1875—1957) — художник.

32. **АРГУТИНСКИЙ - ДОЛГОРУКОВ Владимир Николаевич** (?—1941).

33. **БОЧУ-БРУВЕИЧ Владимир Дмитриевич** (1873—1955) — после Окт. революции управляющий делами Совнаркома.

34. См.: Петроградская правда, 1919, 31 авг., № 195, с. 4.

35. **ЛИЛИНА** (наст. фам. *Первошикова*, по мужу *Алексеева*) **Мария Петровна** (1866—1943) — актриса, одна из основательниц Московского Художественного театра, жена К. С. Станиславского.

36. **КАЧАЛОВ (Шверубович) Василий Иванович** (1875—1948) — драматич. артист.

37. Имеется в виду пьеса А. В. Луначарского «Фауст и город» (1918).

38. Речь идет о «Фаусте» Гете в переводе вел. кн. Константина Романова (К. Р.).

39. «Дворец искусств» располагался в здании Зимнего дворца.

40. *ЛУНАЧАРСКАЯ-РОЗЕНЕЛЬ* (1902—1962) — актриса Малого театра, жена Луначарского.

41. *ИЗГОЕВ (Ланде) Александр Соломонович* (1872—1935) — публицист, сотрудник «Речи», «Современного слова», «Русской мысли»; в 1922 г. выслан за границу.

42. *САВИНKOVA* (урожд. *Успенская*) *Вера Глебовна* — первая жена Б. В. Савинкова.

43. *ТИХОHOBA* *Варвара Васильевна* — жена А. Н. Тихонова.

44. С 1912 г. А. Блок жил на Офицерской улице в доме № 57 на четвертом этаже (кв. 21). Однако вследствие уплотнения был вынужден (в февр. 1920 г.) переехать на второй этаж в квартиру своей матери, А. А. Кублицкой-Пиотух.

45. Вероятно, А. Блок.

46. Дом искусств, созданный по инициативе М. Горького, был открыт в декабре 1919 г. Возникший с целью облегчения быта художников и писателей Дом искусств в скором времени стал центром, объединившим художественную интеллигенцию Петрограда. Горький был избран председателем Дома искусств, в который входили: А. Блок, А. Бенуа, К. Петров-Водкин, М. Добужинский, Ю. Анненков, К. И. Чуковский и др.

47. *КАПЛУН Борис Гитманович*, брат издателя Сумского.

48. Гиппиус имеет в виду давление, оказываемое со стороны «белой» эмиграции на правительство Финляндии с целью предотвращения возможных мирных переговоров с Советской Россией. См.: Быстрянский В. Вокруг мира. — Петроградская правда, 1919, 26 сентября, № 217, с. 1.

49. Обращение наркома по иностранным делам Г. В. Чичерина к финляндскому правительству, а также к правительствам Латвии и Литвы было опубликовано 13 сентября 1919 г. (см.: Петроградская правда, № 206, с. 2).

50. В сентябре 1919 г. была обезврежена контрреволюционная организация «Национальный центр». 67 членов, арестованных в Москве, были расстре-

ляны, в газете был помещен список расстрелянных лиц. — См.: Заговор шпионов Антанты и Деникина. — Петроградская правда, 23 сент. 1919, № 214, с. 2—3.

51. Гржебин занимал квартиру домовладельца Б. А. Гордона.

52. *АНДРЕЕВ Леонид Николаевич* скончался 12 сентября 1919 г. в деревне Нейвала близ Муस्ताмки (Финляндия).

53. Вероятно, А. Блок.

54. *ДЕЙЧ Лев Григорьевич* (1855—1941) — один из редакторов меньшевистской газ. «Единство».

55. *ПОТРЕСОВ Александр Николаевич* (1869—1934) — редактор газ. «День» (1917—1918).

56. *МАРГУЛИЕС Мануил Сергеевич* (1868/69—1939) — адвокат, министр Северо-Западного правительства.

57. Взрыв произошел 25 сентября в 8 ч. 30 мин. вечера в помещении Московского комитета РКП, в котором происходило обсуждение материалов дела организации «Национальный центр». При взрыве погибло 6 человек, многие были тяжело ранены.

58. *СТЕКЛОВ* (наст. фам. *Нахамкес*) *Юрий Михайлович* (1873—1941). С окт. 1917 до 1925 г. — редактор газ. «Известия ВЦИК». Стеклов присутствовал на собрании Московского комитета РКП, при взрыве был ранен в голову.

59. Имеется в виду нота министерства иностранных дел Эстонской Республики от 7 октября с сообщением об отношении эстляндского правительства к миру с Советской Россией.

60. С 12 по 20 октября в Москве и Петрограде проходила партийная неделя. Ежедневно в газету поступали сводки о числе новых членов партии. Кампания была связана с объявлением мобилизации на Южный фронт (наступление Юденича). Были закрыты многие предприятия и фабрики.

61. *ГОЛЬЦ Рюдигер*, фон дер (1865—1946) — немец. генерал. В янв. 1919 г. — командующий немец. войсками в Прибалтике. В июне 1919 г. потерпел поражение от эст.-латв. войск, ориентированных на Антанту; в окт. 1919 г. эвакуировался в Вост. Пруссию.

Примечания
Маргариты ПАВЛОВОЙ

Сдано в набор 29.03.91

Подписано к печати 16.05.91. Л-000054.

Формат 60x84/16. Типогр. бумага № 1. Высокая печать. 5,0+0,25 усл. печ. л. 5,50 усл. кр. отг.

7,69 уч.-изд. л. Тираж 26.000

Заказ № 316-1. Подписная цена 90 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.

Отпечатано в тип. «Рота».

Рига, ул. Блауэманя, 38/40.

Технический редактор
Мудите АРАЯ

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

90 КОП.

ИНДЕКС 77123